

АЛЕКСАНДР  
РОМАНОВ

СЕВЕРНЫЕ  
ПОЭМЫ



Имя диконаде  
и Серес Табибури  
Бенгалии  
на память  
о Погибшем  
Анналире Некрасове.

10/ХII 2005г.

Поманда А.Н.



Вологда  
2005



Howard S.

1930-1999

**К 60-летию Победы  
в Великой Отечественной войне  
1941-1945 годов**

**АЛЕКСАНДР  
РОМАНОВ**



**СЕВЕРНЫЕ  
ПОЭМЫ**

*(Страницы сердца моего)*

*K1428044*

**Вологда**

**«Книжное наследие»**

**2005**

Вологодская областная  
универсальная  
научная библиотека  
им. И. В. Бабушкина

РС

ББК 83.3 (2)

Р 89 69

Составители

— **А. А. Романова,  
А.А. Романов,  
С. А. Романов**

Ответственный редактор — **С.А. Тихомиров**

**Р о м а н о в А . А .**

**Северные поэмы:**

**(Страницы сердца моего)** — Вологда:

**«Книжное наследие», 2005 —**

**320 с.: ил.**

Эта книга посвящается славной дате в истории нашей страны: 60-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне; подвигу русских деревень, пославших на фронт лучших своих сыновей-работников; заменившим их во всех деревенских трудах женщинам и подросткам. Среди них был и автор — Романов Александр Александрович, которому 18 июня 2005 года исполнилось бы 75 лет.

**Издание осуществляется при финансовой  
поддержке департамента культуры  
Вологодской области и управления культуры  
администрации Совета самоуправления  
Сокольского муниципального района.**

ISBN 5-88362-123-6

© Романов А.А., 2005.

© Романова А.А.,

Романов А.А.,

Романов С.А.,

составление, 2005.

© Вологодская областная универсальная  
научная библиотека, издательство  
«Книжное наследие», 2005.



## ПОДВИГ РУССКИХ ДЕРЕВЕНЬ

Во все стороны света — по архангельскому ли тракту, по московской ли дороге, по зыбучим ли проселкам на Вятку и Неву — тянулись и тянулись деревни. Крепко рубленные да умно поставленные на берегах рек и озер, они кипели здоровым народом, желтели ржаными пашнями, зеленели пойменными лугами. И среди такого их множества мое Петряево — всего-навсего березовый взгривок среди тысячеверстных вологодских лесов. Но лишь упали первые немецкие бомбы на Киев, деревни вздрогнули и насторожились.

Сквозь годы я вижу тот июньский день 1941 года, жаркий и пыльный до судорог в горле. Отец отвел меня, старшего сына, в сторонку от плакавшей матери и двух маленьких братьев и сказал, что надо поговорить с глазу на глаз. Он сел на порожек крыльца и, обняв меня, очень внимательно глянул мне в лицо. До сих пор не туманится во мне его прямой взгляд, полный просьбы, печали и надежды. Я в тот миг отчаянно заревел и сунулся головой отцу в грудь. «Ты у меня уже большой. Я надеюсь на тебя. И весь дом на тебя оставляю. Следи за братишками, помогай маме, ей теперь тяжело. А ты у меня сильный парень: вон как умеешь дрова колоть, гряды копать, за скотиной ходить». Тут он замолчал — горечь связала отцовы губы, лишь часто дышал да прижимал меня плотней к себе.

Отступали по проселкам торопливые подводы, увозившие отцов на войну, и в притихших заулках мы, вытянувшись и построжевшие мальчики, сразу оказались на виду. Нас много было, зеленого подроста, в Петряеве.

Председателем колхоза поставили Александра Букова, — не взятого в армию из-за косоглазия, длинного, как жердь, мужика с хмурым обличием. Бабы иной раз сгоряча называли его «Санком», а то и «Кривым», но Буков, к удивлению самих

баб, не обижался на это. Лишь глянет здоровым глазом и скажет: «Да я бы на фронт — хоть сейчас, там легче, чем с вами». И они виновато замолкали. Бригадиром выдвинули Катю Румянцеву, только что окончившую десять классов. «У нее на щеках — блины печь», — любовались в деревне Катиной статью и красотой. А парни постарше нас замирали и бледнели, лишь влетала она русым ветром в ребячий круг. Дай Катя любой наряд — тут же черта своротят!

Надо было приступать к сенокосу, а из Петряева в армию уже проводили шестидесяти трех новобранцев, самых крепких работников. Буков собрал перед конторой всех оставшихся в деревне. Как глянули, сколько пришло, — и без речей поняли: каждый впряжен в воз за троих! И наутро, на заре, двинулись матери, девки, старики и мы, подростки, на лесные покосы.

Мать моя, Александра Ивановна, молодая, пригожая, по сенокосному обычаю одетая в белый вышитой сарафан, держала меня около себя и учила косить. Я был рослым и малопомалу стал справляться уже с длинным прокосом. Она оглядывалась, как я, мокрый, загорелый до черноты, догоняю ее на полосе и радостно печалилась: «Вот бы посмотрел сейчас отец».

А отец писал, что учится на срочных курсах младших командиров и наказывал нам превозмогать все трудности.

Вскоре Буков уговорил матерей, чтобы они оставили нас, уже окрепшую ребятню, в ночное на низинах по реке Двинице. И они согласились. Мы по утрам рано выскакивали из холщовых пологов, пили чай и становились за Буковым в пятнадцать кос широкой артелью. Парни постарше — вслед ему, а мы — за ними. Над белым туманом впереди пропадали лишь раскачивавшиеся плечи и упрямо склоненная голова председателя. С шумом оседала подрезанная трава, до жжения в ладонях накалялись косьевища, а косы черными молниями метались в росе. Но травостой наваливался такой плотный, что часто они тупились, и Буков, уже скрывшийся далеко впереди, вдруг возникал из тумана рядом и точил наждаком стальные полотна тем, кто не умел и отставал. И подбадривал, и заставлял передохнуть.

Дневная норма тогда для взрослого косца определялась в тридцать пять соток, а мы на пойме, бывало, перекрывали ее. Как пройдем своим артельным захватом к лесу и обратно к реке, глядишь, уже на поваленных трех гектарах гуляет раннее солнышко. И хоть падали мы от усталости на подсыхавшую траву, но когда матери приносили завтрак, было приятно слышать их удивление нашей вечерней и утренней работой.

Только свалили сенокос, накатила жатва. В колхозе было две лобогрейки. На одной такой трещотке, помню, восседал голубоглазый старик Александр Барданов. Сутулый, зоркий (до войны охотничал от райпотребсоюза), он теперь оказался в самом пекле.

— А ну, бабы, пошевеливайтесь! — кричал он добродушно, объезжая круг за кругом ржаное поле.

— Гли-ко, медвежатник объявился! — шумели бабы. — Тебе бы самый раз на немца теперь ходить.

— Не берут военкомы, а пошел бы, — отвечал серьезно Барданов, но по тому, как тяжело бочился на тряском сиденье, было видно, что года его охотничьи уже на исходе.

Молодые девки — одна крепче и краше другой — Павла Кузина, Шура Букова, Тоня Никонорова — иди по ряду, не перечтешь всех — лишь успевали складывать рожь охапками и перевязывать в снопы. В этом же ряду стояли и наши матери. А где хлеба полегли от ветров и дождей, там сверкали серпы. Я с братишками помогал матери ночами вить соломенные пояски, чтобы к утру их, влажных и прочных, было не меньше ста.

Сам же вместе с соседскими ребятами пораньше бежал на конюшню. Надо за день свозить снопы на гумна. Изба перед конюшней, с широкой лавкой и простецким столом, была самым любимым местом сбора. Хозяйничал в ней Вениамин Сараев, самый многодетный в деревне мужик. Он был не только конюхом, но и шорником, сапожником, каталем, плотником и в придачу еще толковым грамотеем. Седая щетина на щеках, взгляд усмешливый и цепкий, вечный кисет под руками. На гвоздике у него висела районная газета «Ленинский путь». Он изучал ее от передовицы до редакторской подписи. Радио у нас, конечно, не было, лишь из районки да об-

ластной газеты «Красный Север» узнавали, что происходит на фронте. Конюх надевал очки и прочитывал вслух самые важные места. А вести были горькие. Враг рвался уже к Москве.

Дядя Веня, оглядев нас, притихших, прикалывал газету снова на гвоздик и говорил:

— Попомните, ребята, немцу Москвы не взять! Мы, русские, что пружина — чем больше напрягаемся, тем сильнее ударим. — И для наглядности своего заключения он распахивал дверь до предела и резко ее отпускал — дверная пружина со свистом захлопывала вход в избушку. И он радовался, что наши лица светели. В колхозе была всего одна конная молотилка, ждать, пока из МТС пришлют тракторную, не позволяли дожди. Хорошо выручали старые гумна с теплыми овинами. Мы вкатывались в них с тяжелыми возами и сбрасывали под полицу влажные снопы. И если снопы разваливались перед въездом, то с метлой выбегал рыжий старик Олёша Качанов и хвостал нас по спинам.

— Ведь это же хлеб, рожь-матушка! — кричал он с надсадой. — А вы тут разбаловались, чирки.

И бережливо грудил метлой сломанные ржаные остья и уносил в охапке на гумно. Нам становилось стыдно.

Собрали в ту осень по двенадцать центнеров зерна с гектара. Оно, поистине золотое, прямо с гумен отправлялось в Фонд обороны. Оставили лишь на семена. О себе как бы забыли. А тут призвали в армию и остальных парней: Мишу Честного, Колю Бардона, Толю Сараева, Васю Тихомирова — провожать вышла вся деревня. Разрывались от отчаянной удачи их гармошки, а девки слезно сжимали губы, висли у парней на плечах.

Буков опять собрал народ перед конторой. Сказал, что надо скорей пахать и сеять озимые. А кто, кроме него, председателя, встанет за плуг? Выскочила наперед Марья Ромахина, загорелая, дюжая, в берестяных ступеньках на босу ногу.

— Да я от тебя, Буков, нипочем не отстану! — откинула она в азарте простоволосую голову. Все оживились. Марью записали в пахари первой. Потом согласилась Павла Зайцева, за ней Анна Спирина — сразу нашлись доброволки.

Трудно прорезались первые борозды под женскими руками. Лошади, послушные мужскому окрику, теперь хитрили и брели, где полегче. Бабы выбивались из сил, но неотступное упорство прибавляло им опыта. Мы, боронившие поблизости, уже тяготились легкостью своей работы и напрашивались к женщинам в помощники.

— Пуп сорвете, — отмахивалась употевшая Марья Ромахина, но, придерживая ручку плуга, все же разрешала нам поочередно попахать. И мы постепенно втягивались в это самое тяжелое крестьянское дело. Увидел наше старание Буков и принялся обучать нас пахоте. Лошадей дал бывалых, плуги навострил и поле выделил помягче. И сам стал пахать рядом.

Навсегда запомнил я, как пошел по своей первой борозде. Ручки плуга оказались чуть ниже плеч, гнедой мерин оглянулся на меня и, видимо, поняв мальчишеское волнение, тронулся по краю поля медленно и ровно. Я изо всех сил углубил стальной носок в утоптанную коровами паровину, навалился грудью на плуг и услышал, как земля вздохнула и черным пластом перевернулась набок. Босыми ступнями озноубно почувствовал глубину борозды, а жарким лицом — ветер настоящей жизни! Так, на своем двадцатом году, я ощущил в себе крестьянскую силу, которой от века были крепки мои родичи — русские землепашцы.

А война все туже натягивала череду дел, тревог и утрат. И хоть не слышали мы здесь, за лесными увалами, грохота боев, но посыпались на деревню похоронки, как осколки. Первой сотряслась изба наших соседей: погиб Павел Сараев. И жена его, Нина, запричитала по-вдовьи безутешно. Она с такой болью причитала, что слова ее сокровенные о муже, о своем горе, о детях осиротевших набирали раскаленную силу мести нашим врагам.

Вся деревня склонилась перед ней, сжившись в общей скорби. И потом, когда такое горе пошло по другим избам, Нина Сараева оплакивала каждого погибшего солдата, вырывая из своей души каждый раз слова, никем не знаемые и не слышанные ранее. Вся глубина трагической стойкости русской женщины выражалась в этих великих ее плачах.

Петряево посуворело. Каждый номер газет читался старыми и малыми. Лишь напечатали призыв собирать металлом для военных заводов, тут же распахнулись темные сараи, чуланы, кладовки, закутки, где годами скапливалась по прежней бережливости разная железная надобность. И зазвенели посреди деревни в общей груде ржавые лемеха, самовары, топоры, чугунки — всякий ломаный железный или медный скарб. Сивый, как зазимок, Олексан Честный, солдат первой мировой войны, прикатил колесные шины, постоял тут и вспомнил, что у него на дворе есть еще две шестерни.

— По полпуда каждая будет, — сказал он. — Это мой «гостинец» извергу Гитлеру. Помоги, Шурка, — обратился старик ко мне, — притащить их.

И я сразу же приволок. В тот же день отправили из Петряева больше двух тонн железа.

Потом сдавали для Красной Армии овчины, полушибки, валенки, шапки-ушанки, теплое белье, холстину. Вязали варежки, перчатки, носки. Шили и вышивали полотенца, кисеты, носовые платки. Сушили в печах желтыми кружочками картошку, собирали мешками алый шиповник. Тут уж вовсю старались — одна перед другой — девчонки. И дивились матери проворству и усердию своих дочерей.

Зима заснегила рано и морозно. По первопутку парни и девки, что постарше, укатили на лесозаготовки. Это было уже воинское предписание. Архангельским и сокольским комбинатам требовался лес. Много леса! В лесопунктах Озерёне, Козлёне и Микшине день и ночь топились потные бараки. Люди еле успевали обсушиться и вновь на лошадях пробивались в сугробные ельники. Четыре кубометра пиловочника — обязательная сменная норма лесоруба. А елки — в обхват. Попробуй свали их топором да раскряжуй ручной пилой, да вывези на лошади к двиницкому берегу! Изматывались люди и кони, а замены неоткуда было ждать.

В самом же Петряеве, не разгибаясь всю зиму, бабы трепали лен. По-соседски собираются у кого-нибудь на полутемном дворе (берегли керосин — зажигали одну мутную пятилинейную

лампушку), натянут на телогреи передники, на которых нашиты резиновые подошвы от калош, чтобы трепала не так больно стучали по коленям, и начнут выколачивать кострику из длинных льняных пасм. Пыль качается над головами, а трепала пляшут до полуночи на коленях. Всех терпеливей была Людмила Сахарова. Скромного ростика, тихая, с большими печальными глазами (и у нее погиб муж), она пудами сдавала колхозу чистые, мягкие, в мерцающих искрах льняные узлы. Молчаливая Людмила, как и другие вдовы, лежала в такой непрерывной работе утишала горечь своего сердца.

В конце зимы по нашим деревням стали развозить эвакуированных из Ленинграда. В Петряеве оказались две семьи. С собой у них было прихвачено всего ничего. А сами — ветер повалит, в ботиночках, в легких пальтишках. Как слезли с дровней, так и ухнули в сугробы. Сразу их — в теплые избы, да валенки на ноги, да молоком отпаивать. Долго лежали, не вставали. А потом разбредались. Одни по фамилии Алексеевы, а другие — уж не помню как. Сына звали Юрай, а дочь Ириной. У Алексеевых тоже была дочь — Ольга. Никакого деревенского дела они не знали. Стали их приучать.

Хлеб в деревне кончился. Толкли старый льняной жмыж и пекли из него черные сухари. Из семенной картошки вырезали «глазки» для будущей посадки, а остальное с кожурой шло в еду. Жили одним ожиданием весны, когда брызнет у домов зеленая крапива, на лугах щавель, на полях выскочат пестрики. И рыба пойдет по Двинице, сунется в наши кольчуги.

А пока по насту волочились с санками и собирали остатки сена у остохьев — надо было не уронить от бескормицы скот. Мать маялась опухшими руками — надсадила на трёпке льна да на подвозке кормов для фермы. Корова ревела во дворе от голода, и я ни свет ни заря вскакивал с печи и до школы успевал в ближних местах насобирать мешок кое-какой сенной трухи. Отец с Волховского фронта писал, чтобы я во всем помогал матери, а отцовское слово для меня стало превыше всего.

За зиму отправили в армию почти всех лошадей. Конюшня опустела, осунулась, и дядя Веня стал тачать хомуты и прилажи-

вать веревочную упряжь уже для быков. Он крестил такими словами эту упрямую скотину, что бабы, слыхавшие всякую ругань, хватались за бока. Однако сам он заметно приободрился: слова его сбылись — немца отшвырнули от Москвы.

— Вот она, наша пружина, — поднимал конюх свой вычерненный дратвой кулак, — сработала! Еще, погодите, не то будет. Заподскакивает немец, как на углях!..

Пишу я эти строки и чувствую: нет, не вмещается в них вся мера пережитого — настолько она велика! И деревенские люди тех лет, встающие в памяти, смотрят на меня, теперешнего, строго и взыскательно.

Будто говорят они: «Ищи слово, равное своей судьбе. Только таким словом сможешь рассказать и о нас...»

Да, они ни в чем не пожалели себя. Выстояли. Выдергали все тяготы. Укрепили фронты. И дивлюсь я теперь тому, как смогли они, скажем, в нашем колхозе не запустить в годы войны под бурьян и кустарники ни одной сотки пахотной земли, ни одного клочка пойменных сенокосов.

А ныне, при такой-то технике, именно эти хлебные да травяные угодья вокруг Петряева давно заглушило чернолесье. Сунешься в него, споткнешься, и сердце сожмется от боли и негодования: под ногами — старые борозды. Ну, разве можно так нерачительно жить?..

Нет, не забыть мне той работы,  
Которой были мы сильны,  
До исступленья, до ломоты,  
До ста потоков вдоль спины.  
До крика дружного «Эх, взяли!»,  
До сотрясения земли,  
До стона, слышного едва ли,  
До озаренья, что смогли.

1985 год

---

## КАК ВО СНЕ...

Тридцать соток земли  
Средь огромной России...  
Их метели скребли,  
Их дожди возносили.  
Где и сила бралась,  
Если экая малость!  
Вся крестьянская власть  
В тридцать соток сжималась.  
Старый дом со двором,  
Клин картошки да гряды,  
Да рябины кругом  
Для минутной отрады.  
Тридцать соток земли...  
Их, родных, нам хватало,  
Чтобы выжить могли.  
Разве этого мало?  
А народ все скудел,  
Как во сне онемелом.  
В тридцать соток надел  
Становился уделом.  
Что ж ты, милая мать,  
Смотришь в землю устало?  
Чтоб тоску закопать,  
Разве этого мало?..  
И дивлюсь я теперь,  
Глядя в страшные дали,  
Как, не числя потерь,  
Мы тогда устояли?  
Как же нам, черт возьми,  
Сил и духа хватало  
Оставаться людьми?  
Разве этого мало?!

- 1941-1981

Чонский ветер тихий, тёплый.  
Рябь золотистого пруда  
Отражена игрой стёкол  
В просторном доме, как тогда.  
Уж сорок лет мимо, сорок!  
Как в бликах трёх летних отеней  
В нас поглядел — а взгляд был горек —  
Всех обнял, винил и — исчез...  
Слоня на лавке, на которой  
Нас играли в последнюю игру.  
Стена — как экипаж всей подпора,  
Пазы — как строки древних книг.  
И рябь колышется, трепещет  
На потускневшем потолке,  
И на часах с кукушкой бензой,  
И на узорном рушнике.  
Из дуновения возникая,  
Из дней, которых не забыл,  
Как прикасанье, как сверканье,  
Как гореванье чьих-то крыл.  
Хочу узреть и разглядеть,  
Но смутно так, не до конца,  
Уже не горем, а пепелью  
И тень, и свет, и лик отца.



21 VI '81  
небр. 1981  
А. Голев

## А СЕРДЦЕ НИЧЕГО НЕ ПОЗАБЫЛО...

Это было в деревне, которой нету,  
Но в которую можно взглянуться,  
Потому что деревня эта  
Называется нашим детством.  
Там на ветках качались яблоки,  
Как фонарики, очень маленькие.  
Там остались в далекой сини  
Дробный стук золотых молотилок,  
И ночевки в пахучих овинах,  
И рассказчик рыжий Вавило.  
И картошки с пылу да с жару,  
Что в руках мячами летали.  
Много можно припомнить, пожалуй...

Так начиналась в черновом варианте маленькая поэма «Тревога», написанная в 1962 году. Она тогда и не называлась так, а опубликована в областной газете «Красный Север» 19 декабря 1964 года под названием «Это было в деревне...» Вот тогда, наверное, Александр Романов впервые почувствовал, что ему тесно в жанре небольшого произведения, ведь сказать-то было о чем ему, выходцу из северной деревни, так много пережившей за 20-й век. И он обращается к жанру поэмы, чтобы иметь «возможность насладиться раздумьями о жизни».

Я с малых лет к деревне  
Любовь свою несу  
За мудрое терпенье,  
За строгую красу.

Вот чем было переполнено сердце молодого автора, когда он решил написать поэму об исчезающей красоте старой Руси («Художники», 1962).

Уж давно не пахнет старой Русью...  
Словно лебедь кисти Васнецова,

Улетела в дали – не поймать.  
И, конечно, не вернется снова.  
Это тоже надо понимать.

Автор отправляет на поиски старины столичных художников, которые очень бы хотели нарисовать деревенские дома. А они вон какие!

Избы просторны.  
А над крышами  
Разно узоры  
По дереву вышиты.  
Будто б на нитки  
Сушка нанизана,  
Сушкой обвита  
Стена до карнизов.  
Смотришь и верится:  
Вот-вот сейчас  
Красная девица  
Выйдет встречать.  
Молвит распевно,  
Улыбчиво, просто,  
Мол, заходите,  
Добрые гости.  
И, застеснявшись  
Своей красоты,  
Чуть приподнимет  
Кончик фаты...

Вот примерно такое чудо и ожидали увидеть столичные гости, остановившись в доме старой тетки Марьи. Где же она, эта красота?

...Юбки, опоясанные радугами,  
Сарафанов жаркая метель.  
Кружевная выдумка кокошников?

Но их вопросы вызывают горькие воспоминания у старой женщины, которая увидела вдруг себя молоденькой девуш-

кой, когда «...она, Машутка, в сарафане Яблонево, розово идет» в сенокосную пору, а рядом с ней ее Степан, «еще не муж, не слесарь, Не солдат последней мировой». Вспомнилась ей свадьба и розовая кофта, по которой «пролиты искусно кружева». Эту кофту очень любил ее Степан и писал потом с войны, из-под огня: «Все меняй на хлеб, чего там, Лишь не трогай кофту до меня». Художники чувствуют себя словно виноватыми в чем-то перед Марьей. Наверное, не раз перед ними всплынут «...словно издалека Тетки Мары грустные глаза, Руки на коленях, как упреки...»

И во всех дальнейших поэмах о судьбе русской деревни для автора на первом плане будет она, русская женщина, взявшая на свои плечи в годы войны весь груз крестьянских работ. Этот образ был дорог Александру Романову потому, что это была судьба его матери, оставшейся вдовой в 36 лет с тремя детьми.

Жизнь у нее переломилась  
Еще в войну. Да так остро,  
Что в горе будто затворилась,  
Ушла в суровое вдовство.  
И отдала всю участь дому,  
А сыновьям – любовь свою.  
А силу – полюшку родному,  
А верность – павшему в бою.

*«Прощание с матерью». 1987 год*

На всю жизнь Александр Романов сохранит уважение к подвигу русских деревенских женщин. Часто он даже упрекает себя и своих ровесников, уехавших из деревни:

Да я ль такой? Валили валом  
Мы все дорогою одной,  
А эти Дары, Мары, Павлы  
У нас ломили за спиной...

Невозможно спокойно читать, как героини «Северных поэм» вспоминают свою молодость, своих погибших мужей.

И надо мною волны, волны...  
Но приглядусь – и на виду, –  
Ведь это я в лугах зеленых  
Прокосы шумные веду.  
И мужа вижу. Мой – на зависть  
Всем здешним славницам. Пригож.  
«Эк, – он смеется, – размахалась  
И мне проходу не даешь».  
Но тут все мутится. Лишь горько,  
Как будто с карточки, мелькнет  
Он в полинялой гимнастерке  
И канет с глаз в водоворот...  
И станет больно мне и страшно,  
Хоть дочь буди... Черно кругом.  
Да это ж борозды на пашне,  
И я с конем, и я с конем.

Таковы ночные думы любимой героини Павлы (Поэма «Павла», 1968-1978 годы). Она о себе скажет очень просто:

– За век-то сколько зорь вставало,  
А ни одной не проспала.  
Встречаю их и провожаю.  
Купаюсь в зорях с малых лет.

– Ты зоревая... – назовет автор свою героиню. Они всегда в труде, эти русские бабы! Без слез невозможно читать главу «О смерти» из поэмы «Черный хлеб» (1972 год). Это о Катерине, муж которой погиб в бою за город Брест.

И Катерину замуж звали –  
Всем отказалась наотрез.  
Свою беду одна бедуя,  
Осталась верная себе.  
Откуда ветер ни подует,  
А все равно – в ее избе.  
Но никаких от бабы жалоб  
И никакого людям зла...

И когда белый свет стал перед ней мутиться, она пошла в поле, где бабы рвали лен. Там ее и отыскали за снопами. «В руках со льном сидит в наклон...» «Вот и пора, – она сказала, – Теперь уж я – ни в сноп, ни в горсть...» А дома перед смертью – последний взгляд на простенок, где на снимке муж-солдат.

Очень тревожила сердце писателя и личная боль – мысль о неисполненном долге перед отцом. Долго не могли найти его могилу под Выборгом, а когда удалось все-таки побывать в местах смертельных боев (через 40 лет!), то провалившийся в окоп сын словно услышал голос отца: «Что задержался-то, сынок?» Личный долг исполнен, на мемориальную доску занесено имя погибшего лейтенанта Романова Александра Александровича, бывшего скромного учителя литературы сельской школы, которому в августе 2005 года исполнится 100 лет со дня рождения.

А сколько есть других, о которых забыли, будто их и на свете не бывало. Вот об этой ответственности живых перед павшими горько и требовательно звучали слова маленькой поэмы «Тревога», начатой в 1962 и оконченной в 1964 году. Она о деревенском парнишке Ваське, которого война раньше времени сделала Василием. «Узкоплечий и большелобый, уходил он, почти что мальчик...» И больше о нем никаких известий. Через годы в разговоре с приятелем выясняется, что тот и не помнит Тихомирова Ваську. И вот в черновом варианте поэмы появляются такие строки:

Умирают солдаты дважды:  
В первый раз на поле сраженья  
От штыка или пули вражьей.  
И спустя много лет – от забвенья.  
Так ли это, не так ли – спорьте.  
Только время неумолимо.  
Уже многие надписи стерты  
И размыты дождем на могилах.  
Слезы сохнут, боли стихают,  
Если небо чисто и ясно.  
И встревожилось сердце стихами  
О тебе, Тихомиров Вася!

В этой же рабочей тетради есть такая запись: «Надо, надо бы в каждой деревне поставить по камню и выбить имена погибших!» Строки окончательного варианта поэмы «Тревога» обращены прямо к сердцу читателя.

Вот с приятелем мы в деревне.  
Вспоминаем давнее время.  
Вдруг заминка, и слышу с болью:  
«Тихомиров? Васька? Не помню...»  
Умирают солдаты дважды:  
От штыка или пули вражьей  
И спустя много лет, в грядущем  
От забывчивости живущих.  
Только сердце не примирится  
И не будет с этим согласно.  
Мне которую ночь не спится...  
Встань в стихах, Тихомиров Вася!

Вот каким горьким упреком забывчивости живущих звучит эта поэма, заставляет помнить погибших в годы Великой Отечественной войны. Как тревожго и взволнованно звучит: «...сердце не примирится...» с беспамятством и забывчивостью людей и будет других тревожить. Такую Александр Романов поставил перед собой задачу, создавая «Северные поэмы», называя их – «Страницы сердца моего».

Вдумчивый читатель, перелистывая страницы «Северных поэм», поймет, как автор искренне любил северную деревню, скромную красоту родных мест, как уважал русских женщин и тружеников-мужиков, как гордился, что деревня совершила свой подвиг в тяжкие годы Великой Отечественной войны.

Собрать бы ордена и все медали,  
И доблесть, не учтенную нигде,  
Каким бы красным летом засияли  
Они в глазах сегодняшних людей!

Анастасия Александровна Романова, 2005.

21 июня 1941 г.

война!.. Мы помним это, помним.  
Вот он сейчас передо мной,  
такой доверчивый, зелёный,  
последний день перед войной.  
Когда заране обозначен  
он был, токажьбы из нас  
ко неизвестному, иначе  
ни об не казниться горький час.  
Увы! — такого не было,  
и этот день уже давно  
сгорел за красным переломом,  
но все равно, но все равно  
живы пленды приближит время,  
смогут седые старики  
жонским вечером в деревне  
сидят — и вспоминают их горьки.  
Но женщины, седые тоже,  
согнутся где — нибудьkokну.  
Их никому нельзя забыть  
Вот етот горестный канун.



## РУСЬ УХОДИТ В НАС

*(Разговор с художником Корбаковым)*

Даль осени остылой  
Печальна и чиста.  
И благостен пустынник  
Из тихого скита.  
Со взором проясненным  
Бредет едва-едва,  
И гаснет с мягким звоном  
Озябшая трава.  
Не мой ли это прадед  
Бежал от суеты  
Искать для сердца правды  
В озерные скиты?  
Не знаю. Вьются ветви  
Меж нами широко.  
Так почему – ответь мне,  
Владимир Корбаков, –  
Повеет вдруг – не Богом –  
Пронзительным до слез,  
Лишь гляну на глубокий  
На несторовский холст.  
Встревожит знаком вещим  
И в сердце упадет  
Тот взгляд, в себя ушедший,  
И посох мудрый тот.  
И тронет ненароком,  
Вся в инее насквозь,  
Из той поры далекой  
Рябиновая гроздь?..  
Ответиши мне по-свойски  
На то, что я спросил,

Что это отголоски  
Исчезнувшей Руси.  
С какой надеждой краткой –  
Ты скажешь – приглядись,  
В мучительной догадке  
Дышала эта кисть  
Травой, цветком, росинкой,  
Чтоб выявить одно:  
Куда ж идет Россия,  
Что сделать ей дано?  
... Не легок путь до истин,  
И бились неспроста  
Пророческие кисти  
На золотых холстах.  
А Русь простолюдинкой,  
Тоскуя и грозя,  
Все шла, и плыли в дымке  
Прекрасные глаза.  
... Летят все кручे годы,  
Туманами струясь.  
Куда же Русь уходит?  
А Русь уходит в нас!  
Сквозь бури революций,  
Сквозь оттепель и стынь  
Уходит, чтоб вернуться  
На свежие холсты.  
И в ней опять загадка  
И глубина опять.  
Гордиться нам и плакать,  
Терять и вновь искать!



... летят все круге годы,  
туманами струясь.  
Куда же Русь уходит?  
А Русь уходит в нас!  
Сквозь бури революции,  
сквозь отецель и съть  
уходят, чтоб вернуться  
на склоне холста.  
И в ней опять-загадка,  
и глубина — опять...  
гордиться нам и плакать,  
терять и снова искать!

2-18/11-68 г.

Борис — Петров,  
Альберт



I F W E O H  
G E B E P H F I E



# ХУДОЖНИКИ

Александру Яковлевичу  
Яшину

## I

О мут — вверху,  
Омут — внизу.  
Долбленые лодки  
Гостей везут.  
Берег что кромка.  
Вверх и вниз  
Ельники запрокинулись.  
Весло задевает  
Пики вершин,  
Игру затевает,  
Лес ворошит.  
Гости не просто  
Едут в гости,  
Не просто вдосталь  
Размять кости —  
Ищут Русь,  
Русь настоящую,  
Скрытую где-то  
За синими чащами.  
В Москве говорят:  
Север богат,  
Что ни наряд —  
Радует взгляд.  
Юбки, оборки —  
Боже мой! —  
Так и веет стариной.



В лёте собольем  
Камень веков —  
Это соборы  
До облаков.  
В избах посконных,  
В темных углах  
Тлеют иконы —  
Ах!..  
Омут — вверху,  
Омут — внизу.  
Долбленые лодки  
Гостей везут.

## II

Спрашивали Марью соседки востроглазые:  
— Те, что ночевали, с какой они оказией?  
— Наши полномоченные — так пошто же в  
лодках?

Да и покруглее наши в подбородках... —  
Отвечала Марья: — Из Москвы, сказали.  
Как взглянула, бабы, — хлопнула глазами:  
Право, век не бриты — черные волосья.  
Наши старики и то таких не носят... —  
Засмеялась Любка — ни жена, ни девка,  
Самая отчаянная в разных переделках:  
— А по мне с бородкой мужичок любяе... —  
Бабы замахали: — Перестань, Любава!  
— Ну так вот: сказали, — из Москвы, а сами  
Живописцы! — Марья вскинула глазами.  
Молча и с почтеньем бабы покивали,  
Любкина улыбка обежала дали.  
— Ну, тебя посадят и нарисуют, Марья.  
Только ни к чему: ты, Марья, — старая.

Вот бы меня! — и Любка, грудь выпятив упруго,  
Прошлась перед соседками по лужайке  
кругом. —

Вот бы меня такую — была бы у них картина!  
И я бы на картине в столицу покатила.  
В Москве я не бывала, так хоть с картины,  
что ли.

Взглянуть бы на Москву...

— Да ты того не стоишь! —

И Любка ошарашенно

Вдруг погасла:

— Не стою, по-вашему?

Это напрасно!

Я вся измолотилась —

В поле, на дворе ли.

В жены не сгодилась,

Так сгодилась в деле!

А что гуляю — нате:

Раз живу на свете.

Я не виновата,

Что судьбы нету!

— Да что же ты?

Скорешенько

Разгорячилась — ишь!

Плесни водой из ковшика,

Так, право, зашипишь...

### III

Забрякала заслонкой  
Марья чуть жива  
И рыжего цыпленка  
Пустила под дрова.  
И он в одно мгновенье  
Вырос в петуха

И стал клевать поленья,  
Шуметь и трепыхать.  
И вот уж в печке жаркой  
Он не один, а пять,  
И некоторый в драке  
Не хочет уступать.  
И Марье вроде легче  
Стало в груди —  
Расправила плечи,  
Пошла гостей будить.  
Ах, чистая горница,  
Прохладные полы!  
Босиком хочется  
По таким проплыть.  
Кровати из березы,  
Как баржи, грузны,  
Которые увозят  
В любовь и сны.  
А одеяла жаркие  
Работ ручных  
Цветастыми лужайками  
Лежат на них...  
— Ребята, эй, вставайте,  
День-деньской! —  
Дрогнули кровати  
В горнице глухой.  
И выходят бороды  
С прытью молодой.  
Тишина распорота  
Смехом и водой.  
Брызжут и хоочут,  
Плещут в три ручья,  
Лишь несмытой ночью  
Бороды торчат.  
К самовару сели.  
У него уже

Булькает веселье  
В медной душе.  
— Брось-ка сковородки,  
Марья, — и за стол.  
Вот у нас селедка,  
Хороший засол.  
— Сейчас, сейчас, ребятки,  
Картошка кипит.  
Со своей грядки —  
Добра на вид:  
Рассыпчата, развариста,  
Ешьте с селедкой, пожалуйста... —  
И Марья тащит,  
Прижав, чугунок.  
Пар летящий  
Ее обволок.  
Присела с краю  
За шумный стол  
И разливает  
Чай густой.  
В платочке ситцевом,  
В кофте ситцевой,  
Сшитой, как и в Москве, например.  
Лишь бы подольше стала носиться,  
Была б не маркой — вот и весь манер.  
Ни кружев, ни вышивок —  
проще простого.  
Тревожно художники щурят взгляд —  
Быть может, и ехать сюда не стоило,  
Чего же зря в Москве говорят?  
Но чай дымится,  
А за чаем  
Светлеют лица  
Даже печальные.  
И посидеть  
За ним доведется,

Сам по себе  
Разговор заведется...  
Скажи-ка, Марья, людям приезжим,  
Где же наряды прежние, где же?  
Где же они, которые радовали:  
Юбки, опоясанные радугами,  
Сарафанов праздничных размах,  
Кружевная невидалъ кокошников,  
Розовая выдумка рубах?  
Марья смотрит странно и печально  
И в ответ лишь головой качает:  
Молодость всем грустно вспоминать.  
И, забыв, что чайник полон чая,  
Доливает кипятком опять.  
Спохватившись, охает и молча  
Замирает, опустив глаза.  
Видимо, припомнить что-то хочет  
Из того, чего забыть нельзя.  
Все взметнулось, что давно осело,  
Отсияло в глубине души  
И поплыло пестрой каруселью,  
Скрытую тоску разворошив.  
Всполохами память озаряло  
То одно, затем иное вдруг.  
Почему-то всплыли сеновалы,  
Как часовни, у родных излук,  
А за ними — дымка зоревая,  
И травища, как зеленый брод,  
И она, Машутка, в сарафане  
Яблонево, розово идет.  
Пели косы — и трава пласталась,  
И струился яблоневый стан.  
Позабыв про завтрак и усталость,  
Шел за нею и косил Степан.  
Холостой — еще не муж, не слесарь,  
Не солдат последней мировой.

И тянулись два прокоса к лесу,  
В елки, на полянку, с глаз долой...  
Вдруг картины эти покачнулись,  
И уже иное перед ней:  
Многолюдство деревенских улиц,  
Бражный праздник после трудных дней.  
И она идет, жена Степана.  
Молодушка — слышится молва.  
А по кофте белыми цветами  
Брошены воздушно кружева.  
Нравилась Степану эта кофта.  
Он с войны писал, из-под огня:  
«Все меняй на хлеб, жалеть чего там,  
Лишь не трогай кофту до меня».  
Марья, Марья! Это что с тобою?..  
Стол поплыл, и самовар поплыл,  
И окно поплыло голубое  
В сумерки, в полынnyй чернобыл.  
Наклонилась, побледнела Марья:  
Подождите, все пройдет сейчас...  
Вот и стол на месте замирает,  
И окно встает напротив глаз.  
— Ох, ребята! Вы о чем спросили?  
Про одежду, что ли? — И она  
Улыбнулась грустно, через силу: —  
Вам-то, не пойму, к чему она?  
Прежней нету, я скажу по правде.  
Нажить всю спустили за войну.  
Что осталось: то в музей отправили,  
Чтобы помянули старину... —  
Загрустили гости: эх, как надо  
Для эскизов, то есть для картин,  
Ну хотя б один  
Из старинных северных нарядов.  
Иль уборы — как назвать? — кисейные,  
Или — как там! — разные платки...



Марья смотрит: нет, не чужеземные,  
Ну, а до чего же далеки!  
Поднялась, решилась, чай оставила:  
Мол, поищем...

И в селе тотчас  
Суматоха началась —  
Слух прошел: скупают вещи старые!  
Все тащите, что на чердаках,  
В закутках и прежних сундуках!  
И пошло! Сперва бегут мальчишки —  
Те привыкли собирать-сдавать —  
Тащат к Марье ржавую кровать,  
Без обложек, трепаные книжки,  
Ведра, шкворни, даже чай-то бюст,  
Валят все — лишь звон, и треск, и хруст...  
И глядят назад не без причины.  
Ковыляют бабки — вновь скандал:  
У кого-то Библию стащили,  
У кого-то чугунок пропал...  
Гости говорят: не то, ребята,  
Уносите это все обратно —  
И на Марью вдумчиво глядят,  
И к ее ногам роняют взгляд.

#### IV

Прошлись по деревне —  
Рисовать хочется.  
Вот наконец деревне —  
Русское зодчество.  
Избы просторны,  
А под крышами  
Разно узоры  
По дереву вышиты.  
Будто б на нитки

Сушка нанизана,  
Сушкой обвита  
Стена до карниза.  
Там — погляди-ка! —  
Затейливо вяжутся  
И повиликой  
Веселой кажутся.  
Всюду черт знает  
На чем и лепится  
Эта резная  
Чудо-нелепица!  
Крыльца крылаты.  
Дверь распахнется —  
Не крыльца — палаты,  
Полные солнца.  
Смотришь и верится:  
Вот-вот сейчас  
Красная девица  
Выйдет встречать.  
Молвит распевно,  
Улыбчиво, просто,  
Мол, заходите,  
Добрые гости.  
И, застеснявшись  
Своей красоты,  
Чуть приподымет  
Кончик фаты...  
Ждешь беспокойно  
И смотришь на двери —  
Ведь вот какое  
Крыльца навеют!..  
Скорее мольберты  
Поодаль ставь,  
Чтобы **ЭТО**  
Пело с холста.  
Скинув куртки,



Садятся ребята,  
Гаснут окурки  
В траве примятой.  
Но — странное дело —  
Досадная малость:  
**ЭТО** не пело —  
Лишь красовалось.  
Лишь по холстам  
Разлетались линии,  
Как вырастали  
Курганы синие,  
А на курганах  
Старое зодчество  
Дивно сверкало  
И кособочилось...  
Как же случилось —  
Скажи на милость —  
Умение дедов  
Не пригодилось?  
Наверно, ответят:  
Это — пустое.  
Наше столетье  
Умеет строить.  
И дедам — где там —  
Многоэтажье.  
Такое дедам  
Не снилось даже...  
Да, приезжает  
К нам заграница,  
Чтоб поучиться  
И подивиться.  
И смотрит, чтоб дома  
Об этом рассказывать,  
Как дыбятся домны  
Стальными Кавказами.  
Но кряду глядит,

Обалдев совершенно,  
Как солнцем завит  
Василий Блаженный.  
И купольной гроздью  
Врублен до звезд  
Не знавший про гвозди  
Кижский погост.  
Как складывал гений  
В Поморье седом  
Былины селений  
Простым топором...  
...Ребята рисуют,  
А к ним по травам,  
Собой красуясь,  
Идет Любава.  
Она за пригорком  
В мареве синем  
Траву на подкормку  
Коровам косила.  
Еще не остыла  
От жаркого дела,  
И в прядях густых  
Травинка висела.  
И парни, конечно,  
Кисти — в сторону:  
Откуда? Здешняя?  
Вот здорово!  
Играя глазами,  
Дразнит ребят:  
Мол, я — за вами,  
Траву загребать.  
Летит улыбка  
К ним на холсты,  
Подходит Любка,  
Глядит застыв.  
Да это же — чудо:



Дома знакомые  
Как нарисованы! Чуть  
Не диковины.  
Словно впервые  
Видит она  
Крыльца, перила,  
Сказку окна.

V

Вдруг удар громоподобной пушки —  
Дрогнул синий и зеленый свет.  
Ах, опять в березовые стружки  
Завихрился реактивный след.  
Он плывет над хвойным захолустьем  
И над Любкой в стихнувшей траве,  
Над холстами, тронутыми грустью,  
Близь и даль связзя в синеве.  
И следят из-под руки ребята,  
Засмотревшись молча в окоём.  
Где же Русь — чтоб глянул — и понятно:  
Вот она в обличии своем!  
Может быть, как лебедь Васнецова  
Улетела в дали — не поймать —  
И сегодня проплывает снова,  
Вон летит — уже стальная стать?!

Так зачем художники, поэты,  
Сотни верст в пути исколесив,  
В северные дали рвутся летом,  
Как Колумбы, в поисках Руси?  
И, найдя заброшенную прялку,  
Иль икону, или тканый плат,  
Иль резьбу — восторженно глядят:  
Это все и дорого и жалко.  
А в огнях торжественных, московских,



И в парижских, и в иных огнях  
Плещут сцены и кипят подмостки  
В вихре сарафанов и рубах...  
Ну, так где же Русь?.. Молчат ребята,  
Засмотревшись в синий окоём,  
Будто перед кем-то виноваты,  
Думают о чём-то о своём.  
И всплывают, словно издалёка,  
Тетки Марыи скорбные глаза,  
Руки на коленях, как упреки,  
А потом тумана полоса.  
Из тумана выросли знакомо,  
Будто бы крутые берега,  
Серебристой чернью дом за домом  
Песней, не подхваченной пока.  
И березы, как стога большие,  
И за речкой косарей костры...  
Все звенело, бушевало, жило  
И плескалось прямо на холсты.  
Это все: и руки на коленях,  
Жилистые, в узловатых венах,  
И глаза, то весело, то грустно  
Глянувшие в даль, и те пути,  
По которым нам к добру идти —  
Все взывало в этот миг к искусству:  
На меня вниманье обрати!

## VI

Сказали ребята: мы тебя нарисуем!  
И вот три мольберта поставлены в ряд,  
И Любка сидит на копне, как на стуле,  
Попав под тройной и разборчивый взгляд.  
Она смущена, хоть совсем не привыкла смущаться,  
Одеться бы, что ли, в хорошее платье, а то



В каком-то застиранном, стареньком платьице,  
И этот на ней, как на грех, невеселый платок.  
Ведь будет потом ей неловко в столице,  
Подумают сразу: «деревня» — и губы скривят.  
А Любка такая — никак уступать не годится!  
И брови взлетают, и светится вызовом взгляд.  
И вот проступают, сначала игривым намеком,  
На белых холстах очертания Любкиных глаз,  
Потом раскрываются дерзко в смятенье глубоком,  
В смятенье таком, что прочесть невозможно зараз.  
А парни торопятся, будто и впрямь открыватели  
Какого-то мира, пока неизвестного им.  
И кисти летают, поглубже сомненье запрятав,  
И отдают предпочтение чувствам другим.  
Оно остается, слегка приглушенное думой,  
Работают кисти — и в думе таится вопрос,  
И рядом — грустинка. Как будто бы сиверко дунул  
И эту грустинку в глаза ненароком занес.  
Но вот завершенье — распахнуты бойко ресницы,  
Во влажных глазах отражаются будто впервой  
И травы, и небо, и взгляд удивленьем лучится  
И полнится молодостью и синевой...  
— А ну-ка, взгляни, — говорят ей ребята устало,  
И кисти бросают, и мрачно молчат неспроста.  
Она подбегает — такого вовек не видала:  
Девчонки, знакомые очень, глядят на Любаву с  
холста.

Девчонки, как сестры, которых у ней не бывало,  
Но вот отыскались нежданно, сошлись на угор,  
И каждой дается веселое имя — Любава,  
И каждая молча глядит на другую в упор.  
Лишь только одной, самой старшей, они поручают  
Сказать за себя, похвалить иль похаять ребят,  
...А Любка, сияя, молчит и молчит поначалу,  
И, пристально глядя, в себе открывает себя.  
Потом, обернувшись, парням говорит, что похожа,

Вот только платьишко и этот платок не по ней.  
И просит ребят заменить на холстах, если можно, —  
Ведь есть и в деревне наряды куда поновей.  
Не нравится Любке ни в чем уступать горожанкам,  
Ни в малости малой! Бывает обидно до слез,  
Когда сарафаны и кофты окинет с улыбкою жалкой  
В толпе привокзальной какой-нибудь молокосос.  
Она понимает — на тупость досадовать нечего,  
Но все же в душе остается крапивный настой,  
И сердце тоскует, и хочется сердцу девичью  
Омыться скорее хорошей, большой красотой.  
Ему и не надо иного — живет красотою и правдой...  
— Ну что ж, — говорят художники, — это

понятно нам,

И если ты просишь поправить, то мы, конечно,  
поправим, —  
И добрые кисти снова летят по тутим холстам.  
...Пылило проселками лето, как будто зеленое  
стадо,

На юг уходило куда-то...

Уже и ребятам пора.

И вот чемоданы собрали и все уложили, что надо,  
И Любка их провожала по улице до двора.  
Она говорила «спасибо», она приезжать просила,  
Мол, вас не хватает очень, и слышно было кругом,  
Как девичий голос долго летал над Сухоной синей,  
И эхо в простор уносило тревожное слово:

«Ждем!»

1962 год

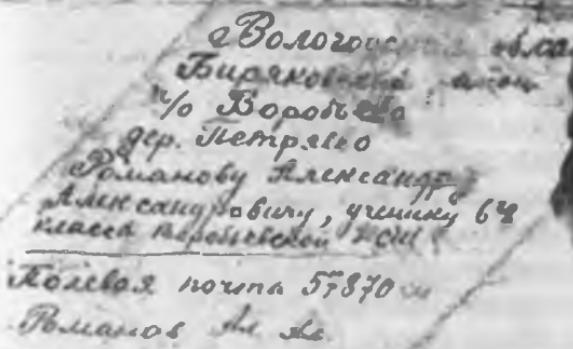




Чем дальше  
горестное лето,  
Тем ярче  
в памяти моей.

В шинель неловкую одетый  
Сидит отец возле дверей.

А на скамье лежит котомка  
С домашним хлебом и бельем.  
И говорит отец неграмко:  
- Не надо плакать, мы придем.



# МАТЬ

...И вот решилась. В ту минуту,  
Когда сказала: «Ну, пойдем»,  
Рябины дрогнули как будто  
И зашатались под окном.  
Сказала: «Ну, пойдем» — и села.  
И не поверила себе.  
И показалось, что осела  
Со скрипом матица в избе...  
Да, верно — матери все могут.  
И если нужно сыновьям,  
В любую пустятся дорогу.  
Чтоб соль и хлеб — все пополам.  
...Уже соседки хлопотали —  
Дорога все же далека,—  
Что взять с собой, а что в подвале  
Оставить временно пока.  
И говорили с добрым чувством,  
Но сыновья, им вопреки,  
И нерешительно, и грустно  
Смотрели в эти сундуки.  
Что в них хранилось аккуратно?  
Холстинка, тканная давно,  
Половики в цветастых пятнах,  
В заплатках старое сукно.  
И стираные рубашонки,  
Их рубашонки — вот те на!  
Носили их они, мальчики,  
Когда большая шла война.  
Они растерянно стояли,  
Не зная, брать или не брать.  
Как будто в стареньком подвале

Стояли мальчики опять...  
В дорогу мало что собрали:  
Зачем же вдаль тащить кули?  
В один заход все из подвала  
На сохраненье отнесли  
К соседке-тетке... А корову.  
Веревку кинув на рога,  
Вели по снегу. И огромно  
Качались бурые бока.  
Она, беспомощно-немая,  
Страаясь что-нибудь понять,  
На мать смотрела не мигая —  
И отворачивалась мать.  
Как будто бы обман таили  
Снега и люди. Каждый шаг  
Она ступала боязливо  
И задыхалась, вся дыша.  
Но тут же окрик раздавался,  
Как вища, нависал с боков.  
И снег под выменем плескался,  
Как пролитое молоко...  
Все разнесли и раздали.  
Лишь дом остался. Старый дом.  
Стоит еще в могутной силе,  
Ему еще не страшен гром.  
В какой-то сумрачной заботе,  
С рябинами наедине,  
Как будто говорит: «Придете,  
Еще придете вы ко мне.  
Куда б ни ехали, повсюду  
Средь городских домов-громад  
Я в ваши сны являться буду  
И буду звать к себе, назад.  
Я буду пахнуть сенокосом  
И вениками в ваших снах  
И петухом звонкоголосым

Пробьюсь в фабричных голосах.  
Со мной разделаться не просто,  
Хоть низкоросл и темноват,  
Я буду виден вам за версты  
Из городских домов-громад.  
Ведь я — не просто дом, а память,  
А ваша жизнь — года, года...  
Я знаю: вас еще потянет,  
Еще приедете сюда!»  
Стоит, как дед стоял когда-то:  
Рябина — словно батожок.  
И на плече сутуловатом  
Не снег, а будто бы мешок.  
И это сходство с дедом старым  
Впервые поразило мать.  
Она сказала: «Нет, не станем,  
Ребята, окна забивать.  
Грешно, пожалуй. Пусть сверкают,  
И веселей соседям так.  
А если уж беда какая,  
То стекла, право же, пустяк».  
И тихо-тихо, незаметно  
В поля окрестные ушла.  
Там всеохватно и всесветно  
Лежит земля белым-бела...  
Земля не чья-нибудь, не божья —  
Во все концы, во все края  
Она до самой дальней пожни  
Лежит немыслимо своя.  
Близка она, как день вчерашний.  
Как день грядущий, дорога...  
Молчат заснеженные пашни,  
Молчат холодные луга.  
Как будто ждут, что в оправданье  
Сегодня может им сказать

Перед своей дорогой дальней  
Всю жизнь работавшая мать.  
«Простите вы, родные пашни,  
Моя отрада и судьба —  
Выходит, что в просторах ваших  
Я сжала все свои хлеба.  
Они ко мне из лета в лето  
Катили жаркую волну,  
И век не думала, что это  
Я золотые годы жну...  
Простите вы, луга речные,  
Уж покосила я травы  
И косу звонкую сточила  
До ободка, до синевы...  
Прости и ты, березник милый,  
Куда любила забрести  
И по грибы, и по малину;  
И ты, дороженька, прости...  
Прости, земля, меня — крестьянку,  
Я даже в трудные года  
Не выходила к полустанку,  
Не ожидала поезда.  
Твои пласты, земля, пластала,  
Надежды сеяла свои.  
И вот — гляди — теперь устала,  
Уж не могу — как ни зови...»  
...Снежинки гаснут, словно искры,  
И вновь летят наискосок,  
И падают на материнский  
Уже поношенный платок.  
И в белом шороже, чуть слышно,  
Душой улавливает мать —  
Земля свежо и снежно дышит:  
Мол, как тебя не понимать.  
Мол, нет к тебе упреков вовсе,

И там, где проходила ты,  
Я вскину тяжкие колосья,  
Как знак ответной доброты.  
И, мол, тебя, хозяйка, долго  
Мне в этом крае не забыть.  
Мол, об одном тревожусь только:  
А как же дальше жить и быть?  
Я не глухая, не слепая.  
Люблю работу — не возню.  
Я доброту не забываю  
И горечь в памяти храню.  
А в памяти моей — послушай! —  
Слоями от времен иных  
Лежат подзолы равнодушья  
И туподумья валуны.  
Ко мне с добром идти — не с речью,  
На том стою, тому верна.  
И потому я славлю вечно  
Союз ладони и зерна!»  
А снег все ниже, ветер тише  
Летит, былинки шевеля.  
И мать душою чутко слышит,  
Как с ней беседует земля.  
...Машина трогается. Иней  
По стеклам каплями течет.  
Припав скорей к стеклу в кабине,  
Мать смотрит, смотрит за плечо.  
Бегут цепочкой полосатой  
И остаются там, вдали,  
Дома, сараи, палисады,  
Колодезные журавли  
И черточки прощальных взглядов.  
Теплом черкнувших о стекло,  
И взмах руки, плеснувший рядом,  
И крик, который отнесло.

Мать повлажневшими глазами  
В тумане ищет старый дом.  
Вон где уже! Далёко сзади.  
Рябины — ниточки кругом.  
И с каждым мигом еле-еле  
Дом различается во мгле,  
Как будто он врастает в землю,  
Устав держаться на земле.  
Мать смотрит пристально и немо.  
А позади — уже лесок.  
И небо в тучах. Только небо  
Плынет над головой. И всё!..

1963 год



## УКОРЫ СОВЕСТИ

В моем Петряеве старожилы помнят, как к одиноким Бардановым – к Олексану и Олексутке – уже после войны вдруг заявился их единственный сын Николай, сгинувший без вести с сорок первого года. Из материнских, что ли, слез, из молитв жарких возник сын в дверях родной избы. Вот было потрясение! Вся деревня сбежалась, трогали его, слушали сбивчую исповедь, словно страшную сказку. Оказалось, что в первом же бою он, контуженный и не помнивший себя, попал в плен, был увезен в Германию, там бежал из концлагеря и сражался с немцами в рядах французского Сопротивления. Даже медаль французскую привез, показывал народу. Но от пережитого уже и сам стал как бы тронутый. Взял было гармонь, развел ее да и заревел в голос, опустив голову на меха.

Но такой случай выпал, кажется, лишь единожды на всю нашу деревенскую округу. А надрывно часто – не реже, чем похоронки – приносились извещения о пропавших без вести. Стон и плач катился по деревням, и безвестия поселялись в домах мукой мученической, без срока и без ясности. Нередко вызывали еще и подозрительность особо бдительных и продажных глаз, возвышавшихся на народном горе. О, человеческая подлость!

А мужики ли и парни, надежные в своей отваге, повинны в том, что оказывались безвестно разбомбленными, не добравшись до фронта, или отсеченными танками в гибельные окружения, или взятыми израненными в плен после отчаянных схваток? Повинны ли они, повторяю, в безвестности своей гибели? Кто осмелится упрекнуть их в таком исходе жизни, найдутся ли такие судьи, которые могут поставить под сомнение неведомую нам жертвенность и неузнанную нами преданность их своей Родине?..

Вот прошло уже больше полувека, а я не могу без слез вспомнить Васю Тихомирова. Он старше меня был всего на четыре года. Тощий, добрый, черноглазый. Любил лошадей. Делал

свистки из ивовых веток. Жил с матерью и сестрой бедно, по-колхозному. Сборы на войну были коротки: с утра — повестка, к вечеру — подвода. Обнял мать и сестру, снял шапку, помахал народу — и завихрились дровни, и исчез в этой метели Вася Тихомиров навсегда. Ни слуху, ни духу, никакой весточки. Как будто и не было его в нашей жизни. Но он был! Я помню, помню, как ветренно пузырилась на нем домотканая рубаха в мелкую красную клетку. Он уже пахал землю, но еще не целовал девок — в самом начале жизни спалила паренька война. Чтобы образ Васи хоть на какое-то время задержать в людской памяти, я написал стихотворение «Тревога», веря в силу поэзии. Там есть такие строки.

...Умирают солдаты дважды —  
От штыка или пули вражьей  
И спустя много лет, в грядущем,  
От забывчивости живущих.

Да, забывчивость, надо честно признаться, так широко угнездилась в нас, что оторопь берет от такого повального беспамятства — вчерашний день уже не помним. До истории ли Отечества нам, когда и родню-то свою знать не знаем!

Ужели угасли в нас укоры совести?

1965 год





# ТРЕБОГА

Это было в деревне, которой нету,  
Но в которую можно взглянуться,  
Потому что деревня эта  
Называется нашим детством.  
Ветры теплые там разносили,  
Чтобы людям радостно было,  
Вечерами в сумерках синих  
Дробный стук золотых молотилок.  
И, в кепчонки картошки ранней  
Накопав, сухой, розоватой,  
За деревней в легком тумане  
Веселили костер ребята.  
Это было счастьем, пожалуй,  
Только кто понимал — едва ли.  
И картошкины с пылу да жару,  
Как мячи, на ладонях летали.  
Был один среди нас всех старше,  
Всех бойчей — Тихомиров Васька.  
Говорили матери наши,  
Что дружить с ним надо с опаской.  
Без отца, без матери парень,  
Без присмотра живет у тетки.  
Вот и курит уже недаром,  
Вот и шляется, рвет подметки.  
Называли матери шалым,  
Называли его баламутом.  
Только Ваську зря обижали —  
Это было ох как не мудро.  
Васька нас удивлял смекалкой.  
Доставал из штанины ножик —



И в ружье превращалась палка,  
И в свистки — ивняк придорожный.  
А за это ему ребята  
Иногда из карманов отцовских,  
Как подарок, несли воровато  
По одной или две папироски.  
Он закуривал, осмотревшись,  
И сквозь зубы чиркал красиво.  
Снисходительная небрежность  
В каждом жесте его сквозила.  
Он ходил все в одной рубашке  
И в одном пиджаке потертом,  
Но зато — всегда нараспашку,  
Но зато — перед нами гордо!  
А зимой, бывало, в метели,  
Нам из дому не отлучиться,  
Если мы шарфы не надели  
Или шубные рукавицы.  
Ну, а Васька даже до школы,  
А потом не спеша обратно  
Брел за пять километров в холод,  
Кулаки в рукава запрятав.  
Рукавиц у него не бывало,  
А пиджак был слишком коротким.  
Ох, не сладко жилось у старой,  
У какой-то троюродной тетки...  
А потом... Не ждали такого —  
Вдруг заряды немецкой стали  
Где-то ухнули подо Львовом,  
А как будто у нас упали.  
Сразу выкрик — война! — осколком  
По окошкам и здесь шарахнул —  
И качнулась деревня с пригорка,  
Будто кто ударил с размаху.  
И повестки с железным слогом  
Полетели из сельсовета.



Мужики по жаркой дороге  
Уходили в морозное лето...  
От беды увядали краски.  
Бабы горестно голосили.  
Постарела деревня. И Васька  
Раньше времени стал Василем.  
Он мотался с плугом по пашне  
И ворочал мешки на севе.  
И девчонки, намного старше,  
Перед ним, потупясь, краснели.  
Он остался парнем последним —  
Им под вечер и выйти не с кем.  
Только он все чего-то медлил,  
Все стеснялся... И вдруг — повестка.  
Провожали вечером зимним —  
Шли и плакали женщины рядом.  
В первый раз вот такое с ними:  
Стали все ему матерями!  
Запоздавшее чувство горько...  
Торопясь, из домов приносили  
Самосад, папиросы, махорку —  
Мол, бери и кури, Василий.  
Он по улице шел, как бывало,  
Кулаки в рукава запрятав.  
Рукавицы ему совали —  
Сколько вдруг! — на меху, на вате.  
Что бы сделать еще — не знали...  
Мы, мальчишки, ватагой спешили.  
Он сначала простился с нами,  
А потом простился с большими.  
Уходил он старинной дорогой  
Навсегда — только мы росли бы:  
Из деревни она — для многих,  
А обратно — лишь для счастливых...  
... Вот с приятелем мы в деревне.



Вспоминаем давнее время.  
Вдруг заминка, и слышу с болью:  
«Тихомиров? Васька? Не помню...»  
Умирают солдаты дважды —  
От штыка или пули вражьей  
И спустя много лет, в грядущем,  
От забывчивости живущих.  
Только сердце не примирится  
И не будет с этим согласно.  
Мне которую ночь не спится...  
Встань в стихах,  
Тихомиров Вася!

1964 год

Всё думало о тех, кто не принял!  
С полей бояны. О, как они бы жили!  
Невзгоды на них — меньшее из зол —  
Они бы были меланхоличные солдатские сложили.  
И закружив своих невест и жен!  
От радости, о, как бы их любили!  
И не один бы гений был рожден,  
Но гениев тех на войне убили...

# СУХОНА

1

Сквозь дрёму, сквозь думы плывет  
теплоход.

Вдруг сеном иль хвоей на миг опахнет,  
А сердце и долго, и сладко болит.

Налево ли глянем, направо ли — вид!  
А Сухона ширится с плеса на плес  
И катится к небу в сияньи берез.  
Хорошие парни, мы едем так,  
Как в жизни живем: от друзей —

ни на шаг...

Уже холодит наши лица росой.

Вот первая пристань — поселок лесной.  
Над пристанью — елка. На елке — луна,  
Как желтый динамик, укреплена.

И сыплется сверху такой перепляс,  
Что камушки скачут оттуда до нас.

Мы видим: товарищ у нас молодой  
Стоит и тоскует над черной водой.  
А с берега девушки лет двадцати  
Нам машут руками и просят взойти.

Ах, чертов динамик на берегу,  
Ах, четкий рисунок девичьих фигур!  
И самый красивый товарищ из нас  
В каютте берет чемодан, извиняясь.

— Во мне, — говорит, — возник интерес,  
Я, — говорит, — завербуюсь в лес...  
Конечно, разлука с другом горька,

Но разве удержишь холостяка?  
— Ну что ж, — отвечаем, — раз интерес,  
Иди, — отвечаем, — осваивай лес...  
А Сухона волны бросает внахлест  
И катится дальше в мерцании звезд.

## 2

Мы едем и едем. Уже рассвело.  
Вот новая пристань — на взгорье село.  
Доярки спускаются — любо смотреть:  
У каждой по солнцу в веселом ведре.  
Садятся к бокам пудовиц вдоль реки —  
Колени, как ядра, смуглы и жарки.  
И видно под низом коров, вдалеке,  
И небо, и берег другой в сосняке.  
На фоне таком все сильней и звончей  
Вскипает одиннадцать белых дождей.  
А мы фотокамерой щелк да щелк,  
А бабы смеются: — Знаете толк...  
Откуда такие явились-взялись?  
Мы тощих таких не видали в жись.  
Особо глядит одна, сторонясь, —  
Заметно краснеет старшой у нас.  
— Ослабли, как видим, в житье городском,  
Останьтесь у нас — отпоим молоком...  
Ах, добрая гостьба и ласковый взгляд  
Всё сделают с сердцем, чего захотят!  
Сидит наш старшой и вздыхает всерьез:  
— А может, и вправду, податься в совхоз?  
А бабы ему: — При уме-то таком  
Ты будешь, конечно, учетчиком...  
И вот он зовет нас в сторонку, за дверь.  
Мы видим: и здесь не минуем потерь.

А Сухона в борт ударяет стальной  
И ухает, бухает белой волной.

3

Туман очертания берега стер.  
Но едем все дальше и видим: костер,  
Как рыжий бычок в травостое густом,  
Бодается, прыгает, машет хвостом.  
Мы мимо плывем посредине реки,  
Но нас окликают. Глядим: рыбаки.  
— Хлеб-соль, — говорим. А они: —

Хлеба ись.

Давай до утра на прикол становись:  
Вода тут бойка, а ночка глуха...  
И мы к мужикам, а у них — уха!  
А рыба-то, рыба возле куста  
От пламени кажется впрямь золота.  
— Стерлядки, — светлеют лицом рыбаки, —  
Здесь лавливал, бают, Петр Первый таких...  
И мы представляем: сияющий Петр  
Вперед мужиков достает перемет,  
И в лодку к нему, серебристо горя,  
Все шлепает стерлядь и брызжет в царя,  
А он, утираясь, кричит, хохоча,  
И требует всем по ковшу крепача.  
...Лежим у костра мы — трава суха.  
В янтарных звездах стерляжья уха!  
Ах, эта уха до самой зари  
Любого возводит на ночь в цари!  
И третий наш друг говорит: — Не могу  
Расстаться с красой на таком берегу...  
А Сухона вьет берега впопыхах.  
Один — в соловьях, другой — в петухах.

Вон выплыла церковь, как чайка, бела,  
 А избы по взгорью — два легких крыла.  
 Но ей не взлететь: обвиненьем лежит  
 Тем самым, кто путал, где бог, где мужик.  
 А ну-ка, пристанем. Ах, каменный ритм  
 Как много сегодня душе говорит!  
 Как дивен полет от избы до избы  
 Раскидистой, звонкой, веселой резьбы!  
 И друг наш, что более всех бородат,  
 Старинные вещи зовет собирать.  
 Да только старушки ох как умны:  
 Сперва узнают, кто такие мы,  
 Откуда плывем да родились где?..  
 Всех больше доверия бороде.  
 И слово за словом — красно, легко,  
 И тащат товарищу груду икон.  
 В затесах доски, черны, тяжелы,  
 Пронзительно лики глядят из мглы.  
 Откуда они? Каких мастеров?  
 Быть может, какой неизвестный Рублев?  
 — Ну что там девчонки, — твердит борода, —  
 Старушки на Сухоне — это да!  
 Дары — что находки, слова — что вязь.  
 Нет, я не попутчик, друзья, для вас...  
 А Сухона льется уже в небеса,  
 Как будто курганы, темнеют леса.

Еще поворот да еще поворот —  
 И город из белого камня встает.  
 В закате кресты изжигая дотла,

Торжественно блещут над ним купола,  
А берег камнями веков замощен...  
Прими, Устюг-батюшко, низкий поклон!  
Выходим на берег. Ах, синь-глубина.  
То былью, то небылью веет она!  
Слыши: плещутся весла то там, то тут —  
Не вновь ли торговые струги плывут?  
Глянь: в плесе качается белый туман —  
Не парус ли поднял Дежнев-атаман?  
А сосны — быть может, не сосны в бору,  
А это чернение по серебру?..  
Мы с кручи глядим. А под нами река  
Летит, как истории русской строки.

1966-1967 годы



## О РОССИИ, О ДЕРЕВНЕ, О СУДЬБЕ

Ответы на вопросы корреспондентов газеты  
«Сокольская правда» Лидии Тепловой, Татьяны Пушниковой,  
Александра Сушикова.

Свою взрослость (взрослость – это сознание, что тебя уже ждут дела жизни) я ощутил в одиннадцать лет, в июне 1941 года, когда с нами прощался отец, уходя на фронт. Помню, он отвел меня, старшего сына, в сторонку от плачущей матери и двух маленьких братьев (самый младший еще в зыбке качался) и сказал, что хочет со мной поговорить с глазу на глаз. Мы вышли на сарай нашего огромного дома, отец сел на порожек и, обняв меня, очень внимательно глянул мне в лицо. До сих пор не туманится во мне его прямой взгляд, полный просьбы, печали и надежды. Я в тот миг отчаянно заревел и сунулся головой к отцу на грудь. Он посадил меня на колени, отер мои слезы и начал говорить тихо, но твердо. «Ты у меня большой. Я надеюсь на тебя. И весь дом на тебя оставляю. Следи за братишками, помогай маме, ей теперь тяжело. А ты у меня сильный парень: вон как умеешь дрова колоть, огород поливать, за скотиной ходить...». А потом замолчал, горечь взяла отцовы губы, лишь часто дышал да прижимал меня плотней к себе. Так просидели мы несколько минут, которые меня, одиннадцатилетнего, сразу сделали действительно взрослым парнем. И с фронта, до своего последнего боя под Выборгом в июле 1944 года, отец адресовал письма иной раз не на маму, а на меня, подчеркивая этим уже мою значимость в семье.

Так быстро взрослело все мое поколение. Мы в тринадцать лет вставали за плуги, в пятнадцать за станки. Я мог бы написать: рано взрослело, и это тоже была бы правда, но в слове «рано» все-таки слышится сожаление по непрожитому

сроку, отпущенному на отрочество. А такого сожаления мы, отроки колхозов и заводов, в ту грозную пору не испытывали. Не до этого было! Мы, малолетки, взваливали на себя ношу, конечно, не по силам, надрывались, но зато непримиримо и конкретно представляли врагов своей Родины. И будущее видели только в одном – в победе. Патриотизм стал воздухом нашего отрочества. Он вошел в кровь на всю жизнь.

Довольно долго, приезжая в Москву или в Ленинград и попадая, так сказать, в «интеллектуальный столичный свет», я стеснялся своей мужиковатости. Мне казалось, что и не так здороваюсь-прощаюсь, не так сажусь-встаю, не так за столом перекладываю вилку с левой на правую сторону и т. д. Да и костюм на мне (как глянешь на окружавших да сравнишь) висел «мешком», хотя он и куплен в Вологодском универмаге (вологодский пошив до сих пор ужасно мешковат!). Вот все это и называлось (а может, и до сих пор называется) «деревенской закомплексованностью», то есть этакой личностной неполноценностью. Термин-то какой презрительный! Жестокие умы его выдумали.

Мало-помалу, приглядываясь и прислушиваясь к интеллектуалам, я увидел и понял, что в них нет стержня, заземленного с родиной. В их речах – цитатная ученость, а не выстраданная мудрость. В их концепциях – утверждение своего престижа, а не истины. В их помыслах – мираж личного благополучия, а не порыв к устройству народной жизни. И, наконец, в их душе – острый ледок высокомерия, а не пламень человеколюбия. И если я в их глазах вставал русским провинциалом, то они в моих глазах предстали провинциалами каких-то западноевропейских закоулков.

На этом моя «закомплексованность» и кончилась. Но такое понимание мне далось не просто.

Поэтому и хочу сказать всем молодым людям, особенно деревенским: истинная любовь к России, к местам, где вы

родились, никогда не была и не будет провинциальной! Это – та сила, которая может прочно утвердить ваше достоинство всегда и везде.

С отцом я расстался в одиннадцатилетнем возрасте. Во мне живо ощущение, что он был умным, справедливым и простым в отношениях человеком. Помню, к нему приходили люди за советами, а в праздники в нашем дому было полно гостей, званых и незваных. Отец работал до войны завучем Воробьевской семилетки и по общественной линии был членом ревизионной комиссии нашего колхоза «Спайка». Везде его уважали и доверяли ему. Об отце и поныне тепло вспоминают в разных деревнях уже состарившиеся его ученики и ученицы.

Мать свою я глубоко уважаю за верную любовь к отцу. Когда он погиб, ей было тридцать с небольшим лет. После войны к ней, помню, не раз сватались, но она наотрез, даже с гневом отвергала всякие предложения. Я считаю такое самоотречение во имя единственной своей любви великим душевным подвигом, который под силу немногим женщинам. Мы, трое ее сыновей, выросли в обстановке подлинной нравственной чистоты. Материнское самоотречение показало нам высшие ценности духовной жизни и избавило нас от бытовой грязи. За это ей поклон до земли!

Я знаю немало случаев, когда престарелых матерей дети выгоняют на улицу, безжалостно толкают к смерти. Такая жестокость чудовищна! Ведь старость беспомощна, а молодость сильна, поэтому и должна быть заботлива, милосердна и великодушна – на этом законе от века строилась на Руси народная жизнь. Что же случилось ныне? На то, что времена теперь другое, ссыльаться нечего: время – всегда новое. И пусть прозвучит мистически, но я скажу (точно это знаю), что в жизни, так сказать, в воздухе существует и закон отмщения за любую

жестокость. Рано или поздно вся боль, все горе, причиненное другому, непременно поразят самого обидчика. Как ты — так потом и тебе — вот истина, которую не следует забывать.

Сыновья наши выросли душевными, честными и серьезными людьми. Я ими горжусь. Отношения с ними у меня нормальные, хотя и не всегда легкие. Например, долго я возмущался их увлечением «Битлз», магнитофонными записями, дисками. Я считал, да и теперь считаю, всю эту иностранщину чуждой нам и даже вредной. Сыновья пытались меня разубедить, проигрывали записи. Я слушал эту крикливую музыку, пытаясь вникнуть, понять, но лишь в редких случаях сердце отзывалось на нее (когда из бешенства звуков вдруг возникала мелодия). Зная про себя, что во мне — музыкальная глухота, я стал более терпеливым к сыновним увлечениям, но беспокойство за них по-прежнему остро. Дискотеки, помоему, — это хитрое идейное вламывание заграницы в жизнь нашей молодежи, рассчитанное на отторжение от отечественной музыки.

Заявить, что я во всем понимаю молодое поколение, было бы самонадеянно. Оно во многом еще и для самого себя загадка. Но я от всей души приветствую его как будущее нашей великой Родины.

Предчувствую, что на протяжении жизни сыновей и внуков произойдут огромные события в мире, поэтому и хочу видеть молодое поколение страны патриотическим.

Любовь — это вся жизнь Я люблю людей. Что это значит? Испытывать душевную тягу к ним, сопереживать в радостях и горестях, при нужде помогать, слушать их разговоры, вглядываться в их лица, любоваться их жизнью и знать, что ты и сам точно такой же; как эти люди. Но меня спрашивают про любовь к женщине. Влюбился я, что называется, с первого взгляда, в семнадцать лет, а на двадцатом году женился. Мне кажется теперь, что холостяком я никогда и не был. И эта пер-

вая любовь жива во мне поныне. Кое-кто из моих приятелей удивляется такой ее долговременности. Я же удивляюсь дикому (иначе назвать не могу) нынешнему росту разводов: почти половина браков распадается! Впору кричать словами Василия Шукшина: «Что же с нами происходит?».

А происходит, на мой взгляд, забвение нравственного опыта народа и торжество легкомыслия, эгоизма и бесстыдства. Поиски лишь одного «медового месяца» – это не любовь. Вообще очень многие путают физиологическое влечение с любовью. Спадает жар, и дунет в таком случае непременно холодом пустоты. Представлять, что в любви одни только радости и наслаждения, наивно, даже глупо.

По себе знаю – истинная любовь к женщине с годами не тускнеет. Даже больше того, разгорается, но уже не сплохами первых весен, а спокойным светом постоянства. В ней, конечно, все есть: и горечь размолвок, и безрассудство ссор, и ревность, и тягость обид, но нет в ней расчета, корысти, иждивенчества. Любовь – это действие во благо любимого человека и своей семьи. Она сродни с радостным самоотречением. Она утепляет жизнь, избавляет от одиночества и помогает вдохновенней работать.

Чтобы «любовная лодка не разбилась о быт», надо уметь удержаться от грошовой мелочности во взаимоотношениях. Мелкость души – беда и погибель любви. Надоли устраивать свое счастье по внешнему подобию с чужим? Странный вопрос. Разумеется, не надо. Моя мать ответила бы так: «В чужое счастье не вкупишься, на свой талан (то есть долю) не осердишься».

Счастье – многомерное понятие. Древнее содержание его: со-участье – доля, пай. Одни полагают, что счастье – сплошной праздник жизни. Другие, наоборот, утверждают, что оно мимолетно и озаряет людей редко. Третьи видят счастье лишь в труде, четвертые – лишь в любви и т. д. Беру толковый словарь Даля. Вот сколько определений счастья: рок, судьба,

участь, доля, случайность, желанная неожиданность, талан, удача, успех, спорина в деле, благоденствие, благополучие, земное блаженство, желанная насыщенная жизнь без горя, смут, тревоги, покой и довольство, совет да любовь... Боже, как богат русский язык! Примеряй к себе любое из этих определений!

Пушкин же сказал: «На свете счастья нет, но есть покой и воля». По глубокому раздумью, он прав. Однако люди беспокойны, они хотят быть счастливыми. Очень хотят! И это желание естественно, ибо оно в самой человеческой природе. Только понятие счастья сейчас уж слишком подзатаскано, подзахватано и запылено от чрезмерного употребления к месту и не к месту. Смысл его иной раз снижается до убожества: удалось достать фирменные штаны – и человек уже счастлив. Ну, не смешно ли? Древнее же содержание (счастье – соучастье) забыто. Очень жаль! В нем заложен, если хотите, смысл колLECTивизма. Далекие предки, они, оказывается, мудрей нас понимали счастье.

Лично я думаю, что счастье в наше время – это мирная жизнь. Какая бы она ни была, пусть трудная, не во всем еще благоустроенная, но если мирная, значит, уже счастливая. А удастся на Земле намертьво заклепать ядерное оружие, счастливыми будут и наши потомки.

О себе же – что я могу сказать? Если не воспарять в небеса, а поразмыслить здраво, то я – счастливый человек. Сами посудите: я не только муж и отец, но уже и дед. Внуки и внучки топают вокруг меня – это же чудо жизни! Люблю и жалею мать, жену, сыновей, привыкаю к невесткам. На родине, в Петряеве, стоит родительский дом, как опора всей моей жизни. В Вологде и в других городах (вплоть до Петропавловска-на-Камчатке) есть друзья и товарищи.

А в сердце моем – вся Россия.

И работа выбрана по душе. Она очень многодумная, и я постоянно недоволен тем, что удается написать. Все кажется, не то, не так, как надо бы. С годами чувство недовольства собой обостряется. Это, конечно, не означает, что в выборе главного дела



Александр Александрович Романов, отец писателя,  
сельский учитель, лейтенант, командир штурмового  
взвода.

1905 - 1944



1945 год. По стопам отца -  
в педучилище, которое отец закончил в 1937 году.



Ася Жарова и Саша Романов - учащиеся 2-го курса педучилища. 1947 год.



Студент пединститута. 1952 год.



Александра Ивановна Романова с сыновьями Александром, Павлом, Левой, невесткой Асей и первым внуком Володей возле родного дома в Петряево. 1953 г.



«Посвящение в родню». Романова Анастасия.

РЕДР'



Начинающий журналист



Сотрудники редакции «Вологодский комсомолец»



Александр Романов и Сергей Орлов



Встреча писателей в редакции «Красный Север». Слева направо:  
Б. Ромодин, С. Викулов, К. Коничев, А. Романов, В. Викулов, Н. Шумилов, В. Малков.



С. Викулов, Н. Шумилов, А. Романов на Череповецкой студии телевидения.



Анастасия Александровна Романова,  
преподаватель литературы Вологодского педучилища



Александр Александрович Романов, поэт



Сердечное напутствие старшего товарища. А. Романов, А. Яшин, В. Белов



Встреча с читателями. А. Романов, С. Чухин.



«Переполнен весь любовью к людям, к миру, к небесам!»

допущена ошибка. Нет, это происходит оттого, что накопленный опыт все строже повышает нормы требовательности к своей работе. Может, это знак постоянного роста ума и души?..

Петряево, родовое наше гнездо, является для меня буквально всем, но главное – памятью сердца о своих родных и близких. При встрече со своей деревней в душу приходит печаль. Почему? Та деревня, которую я знал, осталась в моей памяти очень разной. Сейчас, при возвращении к родным корням, я испытываю двойственное чувство: с одной стороны, я как будто возвращаюсь к себе, в те молодые годы, и встречаю не только старый дом, но и каким-то образом воспринимаю даже и всех живших в нем. И память эта настолько зрительная, что я иной раз почти физически представляю, как ходит дед. Это был великий мастер на все руки. Вон там, около печки, ходила мать, а потом садилась к окну прядь пряжу. Отец, учитель, – в той комнате. Не то, что я вижу сейчас. Если бы я видел только то, что вижу, я был бы очень раздосадован, опечален. Ведь сегодняшняя деревня – это явление очень горькое, тяжелое, безрадостное, и временами кажется, что безнадежное. Тревожно теперь, нервно и злобно в сельских местах. «Демократическая» власть безжалостно бросила их на вымирание. Чтобы осмыслить и выразить нынешнее крушение деревенской Руси, мало одного писательского дара – необходимо еще и мужество, и сострадание. Без них всякое писательство и ораторство есть ложь.

Сейчас в России идет чужая для нас, заимствованная политика, нужная какой-то части власти. Этот режим, прикрываясь словами о заботе, благополучии, зорит Россию. Идет развал России и в первую очередь деревни – хранительницы сочного русского языка, высокой нравственности и культуры.

Сопоставляя минувшее время, прошлое России с моей краткой и рядовой в общем-то жизнью, думая о поэзии, я всегда ощущал, что время это – древнее и минувшее – оно является нашей сущностью и до сих пор. Когда, скажем, выходила моя очередная книга стихов, она заставляла меня пройти несколько сложных кругов. Ведь слова «Русь», «Россия» почти не употреблялись до нынешнего времени. И я, как поэт, из-за этого очень страдал. К примеру, читает Есенина и видишь: в те, двадцатые годы Сергей Александрович широко, размашисто писал: «Россия, Русь». Александр Блок воскликнул: «О, Русь моя, жена моя!» Наверное, и им, доживи они до наших дней, не дали бы говорить так.

И когда я написал новую книгу стихов и стал предлагать в Москве издательству «Молодая гвардия» под названием «Русский разговор», то мне возразили: «Книгу принимаем, но давайте менять название». И дело кончилось тем, что – жалко же большого труда, работы – я предложил название «Дни прозрения». Но мне хотелось в первом названии книги подчеркнуть исконное русское не ради чего-то личного, а просто как человеку, страдающему за Россию. Поэзия – она вне политики, вне социальных проблем. Это мудрость человеческой жизни, не подвластная ничему. Это даже не литература, может быть, а что-то свыше. Возьмем Тютчева. Небольшой томик. Больше и не надо – он велик! А Фет? То же самое! Я читаю и бесконечно поражаюсь творчеству этих гениев.

Занимаясь поэзией, мы прошли сложный путь. Кто – мы? Я, Сергей Викулов. Николай Рубцов миновал это «счастливое время», или оно его миновало. Я даже как-то не могу сказать. Рубцов был первым, кого наше время не коснулось. Он с самого начала или был всех талантливее, а это действительно так, или уловил многое в нашей жизни, что другие не видели и не чувствовали. Многим тогда казались странными слова: «Россия, Русь! Храни себя, храни!» Помню, секретарь обкома партии по идеологии тогда недовольно заявил: «Что это такое?»



А ведь для наших зловещих дней тогда это было пророчеством – предостережением. И все же эта пронзительная строка осталась. Рубцову, видимо, было проще, чем нам, в силу дарования или времени.

Меня вывела на путь правды и заставила быть искренним человеком поэзия!

Поэзия – это духовное состояние души.

Это состояние, близкое к молитве, потому что сама поэзия – это загадка, которую никогда не разгадать.

Я человек верующий, глубоко верующий. Я родился в глубоко православной семье. Я помню с детства, как мать молилась, и особенно – дед. Он был истинным, настоящим молельщиком. У нас в доме была Библия, которая в ту пору – тридцатые годы – могла стать приговором. Но дед сажал меня на колени, раскрывал Библию.

Собирались на чтение бабушка, моя мама, тетка Манефа... Дед сидел вот тут и разворачивал Книгу Книг. Правда, окна занавешивали. Я, конечно, ничего не понимал, но внимательно слушал чтение деда – богочеха. А потом деда в 1937 году посадить хотели. Но он заболел, местная знахарка лечила. Не помогло, свезли в больницу в Кадников, где он и умер. Привезли деда домой на похороны, положили гроб на лавку под образа.

И вдруг входят два чекиста в длиннополых шинелях, спрашивают: «Здесь живет Романов Александр Никанорович?»

«Да, здесь, вон лежит», – ответил мой отец. И дерзко добавил: «Берите». «Ты не зарывайся, а то и за тобой придем», – пригрозили люди из НКВД.

Потом, уже в седые годы, я понял и осознал, что жизнь-то – моя да, собственно, и любого человека – в пределах божьей благодати. Если этот человек хочет вообще добра, если хочет жить разумно, мудро. Все это я понял через призму времени. Если ты хочешь добра, жизни благодатной, используй ее для людей: не обижай, не бросай, не огорчай то, что уже кругом огорчено.



Без родной деревни не было бы меня, вот такого, какой я есть сегодня. Деревня дала мне имя и отчество, основала разум и душу, преподала уроки доброты и сказала: иди в жизнь, будь трудолюбивым и всегда помни, откуда ты родом.

Без своей деревни я, возможно, не понял бы так сокровенно и не полюбил бы так тревожно свою Россию.

Петряево дано мне судьбою для пожизненного испытания моей верности Родине.

В доколхозную пору в нашей местности Корбанге среди невест-славниц бытowała такая поговорка: «Выдавайте хоть за батожок да на петряевский бережок». Бабушка моя Елизавета Платоновна из Нелидова в давности так откровенничала с дедом Александром Никаноровичем: «Не заносись и не задирай передо мною ложматую башку – замуж я пошла не за тебя, а за петряевское поле». Вот так хотелось ей, молоденькой, поработать всласть на петряевском заделе, который, видимо, был крупнее нелидовского.

Выйти замуж... за поле? Скажи сейчас такое – не поверят, захохочут. Вот до чего извратилось в нас отношение к родной земле. Мы оказались в пленау повального самообмана: в глазах великого множества людей земля перестала быть кормилицей, а, значит, и семейной судьбой, уважаемым положением, местом личного счастья. Печально, не правда ли? Это – ошибка, ставшая бедой для общества.

Я, к счастью, в детстве застал родную деревню много-людной, хлебосольной и нарядной. В каждом доме звон стоял от нас, ребятишек. А лошадей, а коров, а овец – стада! Так отстроилось Петряево, да и все деревни по Двинице, в годы НЭПа – новой экономической политики, введенной Лениным

в 1922 году, заменившей насильственную продразверстку хлеба единым продовольственным налогом.

Теперь часто раздумываю: почему такую деятельную силу в крестьянстве всколыхнул НЭП, продолжавшийся всего каких-то семь лет, до 1929 года! Ведь тогда, еще до колхозов, уже повсеместно процветали добровольные крестьянские кооперативы. Они на выгодных паях держали сельхозмашины, мельницы, маслозаводы. Например, у нас в сельсовете, в усадьбе Горка, в доколхозную пору широко славился свой маслозавод: он изготавлял даже на экспорт (для заграничной торговли) прекрасное сливочное масло, называвшееся «парижским», и нужный промышленности казеин. Потом этот маслозавод, как говорится, разнесли по кирпичику. Так, думаю, почему тогда крестьянство столь радостно и жарко взялось за работу?

Да потому, что новая экономическая политика ничем не ограничивала трудовой размах мужика, его смекалистый ум, природную способность прочно обустроиться на земле, отданной ему в первые годы советской власти и справедливо поделенной по едокам. После коллективизации Петряево, как и все деревни, потеряло самые крепкие хозяйства, свою промтоварную лавку и свой сепараторный пункт. Поспешно сколоченный колхоз под громким названием «Спайка» бурлил новизной уравненных и сведенных под одну вывеску хозяйств.

Он поначалу еще держался на корнях общинной сельщины, на родственных связях, на крестьянской добродорядочности.

Я помню те сенокосы, когда в красных сарафанах и в белых рубахах высыпала вся деревня на луга, как на общий праздник труда. Слыши до сих пор жаркий гомон жатвы с молотилкой и дымящимися овинами вокруг деревни. Вижу дружные выходы мужиков и баб на ремонт осеков, изгородей, пастбищ, даже на общинный лов рыбы в Двинице с бреднями и пестерями.

Тогда по вековечному крестьянскому закону немыслимо было не пропахать, как следует, даже малый полевой клинышек,

непровести для стока борозду, оставить под дождями неубранное сено, не поднять со стелиц лен. А в лесу, попробуй-ка зря повалить и оставить гнить дерево, не сложить в кучу вершинки и ветки – попреками изожгут. Или на лесном чищенье, оставь-ка невыкопанным крохотный ивнячок – опять же устыдят. Или не запри в изгороди отвод от скота – вицей надерут.

В такой рачительной обстановке и мы, ребятишки, смала приучались к хозяйственному порядку в своей деревне, а через такой порядок крепла в нас совесть, пробуждалась гордость и ответственность за все, что окружало с детства. На полях соседних, таких же малых колхозов даже горох мы, петряевские, стеснялись щипать: он был уже «не наш».

Разрушительные последствия в крестьянском жизнеустройстве возникли, как только в спешном и волевом порядке стали сливать малые колхозы в большие (с пятидесятых годов) и опять лихорадочно стали перемешивать разные хозяйствственные уровни в общем котле. Тогда и заскребло душу сомнениями и разочарованиями у деревенского люда. Пахотные и сенокосные угодья в Корбанге стали общими почти для сорока деревень, протянулись в окружности аж верст на тридцать. Теперь уж было не до пашен и чищений, раскорчеванных и возделанных еще дедами, а ведь там всегда брали хороший хлеб и укос.

Все перемешалось и обезличилось. Попробуй теперь спроси, кто петряевское поле так искорежил, что и не узнать его, когда-то напевного, колосистого, в волнах ржи. Потому что обрабатывали его, гонясь за пустыми гектарами, механизаторы из разных деревень. Деревенские собрания исчезли – не выкричишься, как бывало, не отведешь душу. Приусадебные участки жестко обрезали, хотя земли кругом вдоволь. Косить на своих коров не разрешили. Я помню, как в летние отпуска скрёб по ночам траву для нашей коровы, которую мать жалела и долго не могла с ней расстаться.

Последний удар (иначе не назовешь!) – большинство деревень без всяких мнений-прений были объявлены неперспективными. Это было уже прямое оскорбление деревенского достоинства. Мать моя, помню, сперва не поняла, каким таким

нерусским словом из воробьевского радиоузла обругали Петряево. А когда я, тоже оскорбленный до глубины души, растолковал матери смысл этого слова, она как будто окоченела. В «неперспективных» деревнях стали спешно закрывать медпункты, начальные школы, магазины... Всю жизнь!

И терпение оставшихся в этих деревнях работоспособных людей кончилось – они хлынули из родных мест.

Земля овдовела – лишилась работников, так и не осознавших, что она им не чужая.

С массовой обывательской тягой к престижу мы забыли прекрасное по своей нравственной глубине русское слово «почет». Оно понятно всем. Почет не приобретается связями, деньгами или ловкачеством, а заслуживается только личным трудом, умом, талантом, душевной щедростью. И пока мы не утвердим в жизни вместо одурманившего понятия «престиж» благородное понятие «почет», справедливого порядка в общественных отношениях не будет. И отток молодежи из деревень не прекратится. Своих деревень у многих уже нет: снесены с лица земли. А если у кого еще и остались, то жизнь в них теперь еще глупше, чем до отъезда. Пусть и сняли с уцелевших деревенек позорный ярлык «неперспективных», но дорог-то к ним как не было, так и нет.

Живу я летами в большом дедовском доме, который по-немногу перестраиваю для нынешних надобностей. В нем такой запас простора, что хватило бы и моим внукам. Вот с каким заглядом вперед – на целый век! – ставились в Петряеве, да и во всех окружных деревнях дома. Ныне в печали пройдусь по родной местности, изрядно опустошенной, и невольно подумаю: до сих пор живем еще дедовским наследием, а уж как старательно ломали его в тридцатые годы. Сами же,

какие молочные фермы да электролинии, в деревнях ничего не прибавили.

А в лес зайдешь — ужаснешься от дикости порубок. Всюду безжалостно загубленный молодняк, развороченные тракторами ельники и березняки, разбитые вдребезги опушки. А Двиница, когда-то чистая и рыбная, задушена стекающей из ферм жижей. Ее бы в торфяные компости, в навоз, да где там! И лес ничей, и река ничья, и дороги ничьи — твори с ними, что взбредет в голову. Очень тревожит меня эта бесхозяйственность и глубокий нравственный упадок в людях.

Больно видеть, как умелая и основательная работа прежних крестьян стала не по плечу, не по навыку торопливым и нерачительным наследникам.

Вот и Петряево мое глохнет от бездорожья. А ведь какая деревня — с полсотни домов, вокруг двиницкие заливные поймы. Здесь бы разводить коров, выращивать телят, брать молоко и мясо. И картошка здесь добрая рождается, а про овес, ячмень, рожь, горох и говорить нечего — могут встать стеной. Расчистить бы прежние сенокосы да заиметь легкую технику — купайся в сене!

Я все-таки верю в то время (а оно, думаю, уже близко), когда многие люди из переполненных и задыхленных городов станут рваться в деревни, чтобы разумно жить и работать на родной земле-кормилице.

1996 год





Меж взглядов Корыстных и нацих  
Распахнуто, весь на виду  
Иду, не пытаясь о благах,  
С достоинством русским иду  
Мне трудно, мне горько — не скрое,  
Но собствью не поступлюсь!  
Не рвусь в показные героя,  
А просто тяжелуюсь за Русь.





# ЗЕМЛЯ

П

лакаты, будто вихри,  
Годами на виду,  
Я громкий смысл на тихий  
Возьму переведу.  
И сразу сердце гулко  
Забьется у меня:  
За каждой красной буквой  
Встает моя родня.  
И в судьбы родословной,  
Которые видны,  
Я всматриваюсь, словно  
В историю страны.  
Бурлит, струится время  
За мной, передо мной.  
И гасит, гасит зренье  
Глубинною волной.  
И ничего-то мне бы  
И не увидеть там,  
Когда бы веткой не был,  
Не рос оттуда сам.  
Сквозь толщу лет — все выше  
Сквозь прах — все зеленей,  
Я каждым нервом слышу  
Движение корней.  
И, раздвигая темень,  
В глубинах вижу дни, —  
Как в раме запотелой,  
Качаются они.

Наотмашь окна прорубив,  
Перекрестился дед.  
И хлынул из лесных глубин  
В лицо зеленый свет.  
Уставив кулаки в бока,  
Дед оглядел кругом:  
Дом, верно, вышел небогат,  
Но и небеден дом.  
Теперь хозяйствовать пора.  
Вон Шилов — тот хитер:  
Что туча — стадо со двора,  
Что гром — возы на двор.  
Так землю ширит каждый год  
По краю по всему,  
Что солнце у него встает  
И падает к нему.  
И, сердце думой опаля,  
Мужик лицом темнел:  
Землица, землюшка, земля —  
Она лишь на уме.  
Теперь и снилось без конца:  
Сам в борозде крутой,  
И солнце в гриве жеребца  
Под радугой-дугой.  
Ну, а земля была в ходу,  
Лишь ставь рубли ребром.  
Но где же — думал он — найду  
С орлами серебро?  
И в Питер навострился дед.  
Там век не перебрать,  
Коль сложа руки не сидеть,  
Чеканного добра.

С женой, с детьми простился дед,  
И пасмурно в окно  
Четыре солнышка восслед  
Глядели, как одно.  
Дед рукавом глаза утер  
И — доброго пути.  
В котомке у него топор,  
Как сокол взаперти.  
Он, слава богу, полетал  
Над гребнями стропил,  
Литым крылом потрепетал,  
Хмельной смолы попил.  
Недаром дед его забрал  
В дорожную суму,  
Чтобы поболе серебра  
Он наклевал ему...

\* \* \*

Быть может, есть память крови?  
Не знаю. Глаза сомкну —  
И словно бы кто откроет  
Передо мной старину.  
И в горле толкнется горечь,  
Во мне прокатится дрожь.  
Ах, дед, родной Никанорыч,  
Я вижу, как ты идешь!..  
По твоему же следу,  
Хотя он давно примят,  
Бывает, к друзьям приеду  
В блистательный Ленинград.  
В граниты вкованный полдень,  
Он светится средь болот.  
И вдруг я тебя припомню.

Как будто кто подтолкнет.  
Здесь все говорит: «Вот было...»  
И ты здесь когда-то был.  
Какие возвел стропила?!  
Какие сваи забил?!  
В каких оконных проемах  
Стоял ты, узор творя,  
И блекла в пятнах соленых  
Тогда рубаха твоя?!  
И где на воде да хлебе  
Ютился ты по углам?!..  
Мерцают в туманном небе  
Торжественные купола.  
И чудится, как сторонкой —  
Неловкий средь суеты —  
С тяжелой белой котомкой  
На Невском плутаешь ты...

\* \* \*

Кружился Питер — боже мой!  
В нем странно знать о том,  
Что где-то за еловой тьмой  
Стоит в пять окон дом.  
Но дед крепился — был смышен.  
Он понял, расспросив,  
Что ходоков таких, как он,  
Вгустую тут с Руси.  
И вот над Питером остры,  
Чтоб видеть все могли,  
Заговорили топоры:  
«Земли, земли, земли!»  
Они, смыкаясь вокруг дворца,  
Чтоб слышать все могли,

Стучали грозно, без конца:  
«Земли, земли, земли!»  
В ответ из окон над Невой  
Сверх крыш и улиц сверх  
Летел растерянно-немой,  
Но все ж орлиный сверк.  
И дед пугался. У него  
Знобило на нутре.  
И застывала оттого  
Рука на топоре.  
«От века так сотворено,  
Что ж мы?» — терялся дед.  
Но сколько тут говорунов!  
И всяк совал совет.  
Одни — общину укреплять,  
Другие — хутора,  
А третьи — черт те что опять,  
Как мухи, до утра.  
Чужие вовсе. И отколь  
Слетелись да взялись?  
Ну где понять им эту боль  
И вековую жизнь?!

«Да взять-то где хоть сколь-нибудь?»  
«Э, темноват, браток.  
Так надо ж куркулей тряхнуть  
Из плисовых порток!»  
И дед представил в этот миг,  
Как полем, вдоль межи,  
Их Шилов, голый, напрямик  
Едва-едва бежит.  
Весь перемок, живот обвис,  
Боясь взглянуть назад,  
Бежит под хохот и под свист,  
Белеет голый зад...  
Дед оглядел своих дружков,

Все помолчали тут.  
«Вот кто за бедных мужиков —  
Ульяновым зовут...»  
А дед в душе-то не хотел  
Считаться бедняком.  
Пусть пашни был всего надел,  
Он думал о другом.  
Он думал: над своей нуждой  
Он сам одержит верх.  
А землю брать — с такой враждой —  
Ему казалось — грех.  
И от приятелей самих,  
И от того, о ком  
Шла речь, повеяло на миг  
Жестоким холодком.

\* \* \*

...И вот он, дом! Бросало в жар  
От встреч, от кутерьмы.  
Дед, как ребенка, самовар  
Извлек из котомы.  
Тот встал, окошко заслоня,  
Пузат и толстолоб.  
Его, как брата, ребятня  
По пузе — хлоп да хлоп.  
А дед сиял. И неспроста:  
Из глубины мешка  
Он взял и каждому достал  
Два сладких петушка,  
И у окошка рядом, вот —  
Хозяюшка-жена.  
А за окошком — огород  
И лес, и тишина.

Какие версты — боже мой!  
Чудно подумать здесь,  
Что где-то за еловой тьмой  
Железный Питер есть...  
Другим не мысля досадить,  
Сам из последних сил  
Дед все же пару десятин  
Ольшаника купил.  
И корчевать он начал так,  
Что в пекле дней иных  
Не только мокрым был пиджак,  
Но мокрыми штаны.  
Ох, наконец-то забренчал,  
Запел, запрыгал плуг.  
Чтобы нужду, как молочай,  
Топтать за кругом круг.  
Изба всегда конем крепка:  
Остаток денег снес,  
Купил двухлетку-меринка,  
Чтобы ходить в извоз.  
Но сена, где же сена брат?  
Без корма конь пропал.  
И дед решил арендовать  
Покосы у попа.  
Но вдруг нежданно полетел,  
Как говорят, с копыл:  
Явился Шилов и надел  
У батюшки купил.  
Ну, дед — за крашеный порог:  
Мол, уступи, сосед.  
А Шилов (в глазках — холодок)  
Сказал спокойно: «Нет.  
Вон лесу, если хошь, продам,  
Лес — любо посмотреть.  
А корчевать ты мастер сам,

Хе-хе, ты — что медведь...»  
Дед и пол слова не сказал.  
Лишь только — в первый раз —  
Он глянул Шилову в глаза,  
Как пулей между глаз...

\* \* \*

Уронят искру в сушь болот, —  
И грозно под землей  
Она зашает, поползет  
Багровою змеей.  
Огня пока что не видать,  
Но смрад и чад страшны...  
Над всей империей опять  
Пласталась гарь войны.  
«Пошто, — ярились мужики, —  
Кровь проливать-то зря?»  
И воротили матюги  
И в бога, и в царя.  
Но все ж на самом том пути,  
Какого нет древней,  
Котомки начали расти  
На спинах деревень.  
У деда — прахом все из рук:  
Старшого — в некрутка!  
А сын-то — мальчик, зеленчук,  
Травина... Ну, куда,  
Кому пожалуешься тут?  
Выходит напрямик:  
Когда работать не дают,  
Какой же ты мужик?  
Эх, мать-земля, хозяин твой,  
Единственный навек,

Он — не хозяин, а немой  
Служилый человек!..  
Катились годы, как с горы  
Тяжелые возы.  
И зрело, зрело с той поры  
Предчувствие грозы.  
Леса, как древние валы  
Славянских крепостей,  
Тянулись из тревожной мглы  
Все круче, все острей.  
Но что там версты, дебри, мгла  
И что простор такой, —  
Когда везде тоска легла  
Глубинною тропой.  
О, эта грозная тропа!  
Хоть вдоль всего пути  
Ее канавами вскопай,  
Дозорами скрути,  
Наставь преград, нагороди  
Решеток дочерна, —  
Все оставляя позади,  
Пройдет, пройдет она!  
Тропа — об истине тоска  
Для всех владык страшна.  
Ее попробуй отыскать,  
Когда в сердцах она!..

\* \* \*

Гудел, летел стозвонно,  
Россию всю вобрав,  
И медный, и сосновый,  
И синий телеграф.  
Сама земля простерлась

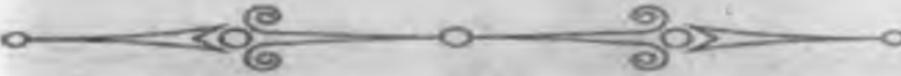


Озвученою тьмой:  
По ней катилась новость  
Уже о ней самой!  
И вот в деревню круто,  
Во весь российский взмах  
Влетела новость утром  
С солдатом на дровнях.  
И, что снегирь, горела  
Тряпица под дугой.  
Посыпалась деревня к солдату:  
«Кто такой?»  
Высокий и мосластый,  
Подмял рукою шум:  
«Я к вам от Новой Власти  
С декретами спешу!  
Совет держите сами,  
Земля теперь — вам!...»  
Дед верил и не верил.  
Но вот апрель запел —  
Все ждали землемера,  
Приехал землемер!  
Цеплялся снег пожухлый  
Еще среди жнивья,  
Но солодом набухла  
Уже везде земля.  
И весь народ — на пашни!  
Как будто праздник тут,  
Иль ярмарка, иль страшный  
Настал библейский суд.  
Восторг, и смех, и ярость —  
Смешалось все в одно,  
И солнце разрасталось  
В огромное зерно...

В сырую эту землю  
Народ колы втыкал.  
Неслось: «Земля — по семьям,  
Земля — по едокам!»  
Ах, вот и в самом деле  
Бугрились во плоти  
Земельные наделы,  
Как тяжкие ломти!  
Смеялись бабы звонко:  
«Знатьё, что впереди,  
По двадцати робенков  
Нам, дурам, бы родить!»  
И тут мужик какой-то,  
Плутавший в голосах,  
Вдруг вспомнил, громко  
    ойкнул:  
«Моя-то на сносях!»  
И, резанув с картинкой,  
Он взвился, как вожжа.  
Кричал: «Эй, Катерина,  
Давай скорей рожай».  
Всем смех. И хоть к моменту  
Ребенок не поспел,  
Но мужику, как ленту,  
Добавили надел.  
А кто-то плакал глухо  
И кулаками тряс,  
И черные старухи  
Валились прямо в грязь.  
И в тех слезах бессилья,  
Сжигавших снег насквозь,  
Метался отблеск синий  
Надвинувшихся гроз.

\*\*\*

Бреду полями —  
И края нет.  
И рожь как пламя  
Минувших лет.  
Тогда сгорали  
Судьбы дотла.  
И под ногами,  
Смотрю, зола.  
Пылится вяло  
Вдоль борозды.  
А ведь бывала  
Землей вражды.  
Бросали зерна —  
Была глуха.  
Вскипала черной  
Травой греха.  
Еще бросали —  
И вдоль межи  
Текла слезами  
В колосья ржи.  
Огромно, трудно  
Из той земли  
Камнями думы  
Росли, росли.  
Вон и поныне  
Еще видны  
В горькой полыни  
Те валуны...  
И странное чувство  
Сердце томит.  
Отраден и грустен  
Знакомый вид...  
1966 год.



## ПОСВЯЩЕНИЕ В РОДНЮ

Ранулась на крыльцо: приехал сын!  
И сразу поняла, что не один,  
И отступила, посветлев, назад.  
Я тут же, у крыльца, знакомлю их –  
И вот они, две женщины, стоят,  
Пока еще две женщины чужих.  
О, это посвящение в родню,  
Смятенье чувств и зоркость мудрых глаз!  
Волнуюсь и молчание храню:  
Мои слова им не нужны сейчас.  
Они сейчас сердцами все поймут,  
Я прав иль нет, что говорил о них.  
Целуются, друг другу руки жмут,  
Но все еще две женщины чужих.  
Шумит по-праздничному самовар,  
Все в золотинках солнечных насквозь:  
Глаза, морщинки и над чашкой пар,  
Игра ресниц, и прядь густых волос.  
И, как у нас ведется в деревнях,  
Уже соседки поглазеть идут.  
— Ну, проходите! Что вы там, в дверях?  
— Да ладно, ладно, постоим и тут.  
По делу мы, вон к матери твоей,  
За квасом мы. У ней такой уж квас!..  
Налили квас, но все же от дверей  
Нейдут они, разглядывают нас.  
И говорят: мол, это кто, жена?  
Уж до чего ж пригожа да бела,  
И рослая, гляди-ко. Знать, она,  
Голубушка, не в городе росла.  
Уж больно городские-то бедны:

Ни спереди, ни сзади – ничего...  
И вижу я, как чашка у жены  
Дрожит в руках и плещется чаек.  
А я смеюсь: не угадали, нет, —  
Из города, из Вологды самой!  
И ахают притворщицы в ответ  
И с новостью торопятся домой.  
...Сидим втроем, толкуем допоздна,  
Веселый самовар давно затих.  
— Спасибо, мама, — говорит жена,  
И вижу тут, что женщин нет чужих.

1962 год





# СЕВЕРАНОВНА

Анастасии Александровне  
Романовой

## 1

Погода нас натешила:  
Ох, были кутежи!  
Февраль косматым лешим  
За ельники бежит.  
И яснится, яснится  
У меня взгляд.  
И на сердце, на сердце  
Капли летят.  
Вытаивает снова  
Прежняя грусть.  
Тревожно, озноно  
К милой рвусь.  
Она за дальним волоком,  
За Кубеной-рекой.  
А волок — синим облаком:  
Дороги — никакой.  
Подождать погоды  
Хотя б чуть-чуть,  
Когда пароходы  
Рванутся в путь.  
Но не могу иначе,  
Прости, родимый дом!  
Гостинец в сумку прячу —  
И в ростепель пешком.  
Дорога еле брезжит:  
Ельник кругом.

Луна, что глаз медвежий,  
С тучкой — бельмом.  
Встань на дорогу  
И сам медведь —  
Смогу, ей-богу.  
Сшибить, одолеть.  
Лечу-метелю —  
Не тяжело!  
Кончился ельник,  
Смотрю — рассвело!  
Смотрю ошаращенно:  
Лежит за бережком  
В золотом шалашике  
Солнце колобком.  
И сразу здешним жителям  
Кричу издалека:  
— Не это ли, скажите,  
Кубена-река?  
— Да, — отвечают, —  
Кубена. —  
Ах, наконец она!  
Как будто я пригубил  
Сельповского вина.  
— Еще скажите: как бы  
Перебраться мне?  
— Да он в уме ли, бабы?  
Право, не в уме.  
Смотри-ка, водополица  
Вон какая прёт,  
И трещит, и колется  
На Кубене лед... —  
Я говорю не дрогнув:  
— Вернуться не могу.  
— Ты что, оставил дролю  
На том берегу?



— Оставил и тоскую,  
Надо позарез!  
— А мы найдем другую,  
Оставайся здесь.  
На нашей речке-матушке  
Сахарно живут.  
Привадушки-повадушки  
Ой какие тут!  
Здоровые да чистые,  
Долгой красоты.  
Кто был — никто не выстоял,  
Так выстоишь ли ты? —  
И смотрят завлекательно,  
Лукаво брови гнут,  
Теплом меня окатывают  
Несколько минут.  
Я чувствую: сгораю  
На стылом берегу.  
И твердо повторяю:  
— Остаться не могу! —  
Они как будто сердятся  
— Ну что ж, бреди,  
Да только сердце,  
Смотри, не застуди... —  
Эх, кубенская быстрая,  
Надлёдная вода,  
Ты помоги мне выстоять —  
Сама молода.  
Скользжу неуверенно,  
Холодею весь,  
Разводья меряю  
То там, то здесь.  
Куда ни тронусь.  
Как на беду, —  
Уже по пояс,

А все ж бреду.  
Боязно, страшно  
И глянуть вниз.  
Женщины машут:  
— Парень, вернись! —  
Не воротиться,  
Была не была!  
Сумка с гостинцем,  
Смотрю, поплыла.  
Материн сладкий  
Пирог — ко дну.  
И сам я слабну.  
Тону, тону.  
Руки в ссадинах...  
Только вдруг  
Вижу спасательный  
Красный круг.  
Бросил колышек —  
И вперед.  
Ах, это солнышко  
Там плывет.  
Кажет льдины  
На глубине,  
Вьет золотые  
Веревки мне.  
Хватаю, верю,  
Совсем огруз,  
Но рядом берег,  
Ольховый куст.  
И, чуть не погубленный  
В яростном льду,  
Счастливый, за Кубеной  
Утром иду.  
Сияет березник,  
Сияет сосняк,



Сияет облезлый  
Мелькнувший беляк.  
Сияет и щепка,  
Которую пнул.  
От Кубены крепкий  
Доносится гул.  
Во рту пересохло,  
Бегом, бегом.  
И вот невысокий  
С перильцами дом!  
И стукнули дверцы,  
И, смятена,  
Наконец-то  
Она, она!  
И не выговорить —  
Тишина...  
И озаренье  
Ее лица  
В тени деревьев,  
В тени крыльца.

## 2

Постлала скатерть новую  
(Честь-почесть дорога),  
Льняную, отбелённую  
На мартовских снегах.  
Захолодало заново  
От скатерти в дому.  
— Зови-ко, Северяновна,  
Матушку саму.  
Я за тобою! Чуешь? —  
И, перепав в лице,  
В моих руках качнулась.

Как в золотом кольце.  
Мать выплывает, вострая.  
Мы — порознь второпях.  
Но наша тайна — господи! —  
Пылает на губах.  
Все видят — что расспрашивать!  
О, взгляды матерей!  
— Я вот за дочкой вашей...  
— Да вижу, что за ней... —  
И села — плакать хочется,  
Да надо перемочь.  
— Согласна ли ты, доченька?  
— Согласна, — шепчет дочь.  
Платок поспешно вынула  
И скомжала в горсти.  
— Ну, что ты плачешь, милая!  
— Да плачется, прости... —  
Давно ли дочка прыгала  
С веревочкой в руках?  
Давно ль рассталась с играми  
На невских берегах?  
В то лето предвоенное  
Так молодо жилось:  
Невой росисто веяло  
Средь радуг и берез.  
Ну, мама, мама, надо ли?  
Но ТАМ у мамы взгляд.  
Расстрелянные радуги  
Осколками свистят.  
И ТАМ вот эта девочка,  
Блокадное дитя,  
К ней снова жмется немочно  
В седых очередях.  
И, как травинка, падает  
У мамы за спиной.

Когда везут по Ладоге,  
По нитке ледяной...  
Не выжить ей, наверное,  
Когда б за черным льдом  
Не опахнуло севером,  
Снегами, а потом  
Дымками, замелькавшими  
В толкучке тупика,  
И кашей, ложкой каши,  
И кружкой кипятка,  
И паром, раскатившимся  
Во множество колец,  
И днем, и возвратившейся  
Жизнью наконец...  
— Ну, мама, мама, надо ли? —  
Мать поднимает взгляд —  
А на ресницах радуги  
Размычено горят.  
Певучая скворечня  
Сверкает у окна.  
И старость тем утешена,  
Что молодость красна.  
Летает, ходит рядышком,  
Свои пути торит...  
Глядит пытливо матушка  
И тихо говорит:  
— Любовь делите поровну —  
Пусть будет дорога,  
Пусть льется речкой полною  
В годах, как в берегах.  
По верности — достойная  
Тех, кто себя не спас,  
Кем пули остановлены,  
Направленные в нас.  
А красотою равная



Родимой стороне  
С березами, и травами,  
И солнцем на стерне...  
Что прожито — все наново  
Идет, листвой сквозя,  
И рядом Северяновны,  
Любви моей глаза.  
В нетерпеливых искорках  
И от ресниц в тени,  
Огромные и близкие,  
Придвинулись они.

### 3

Не было думы —  
Да надумали вдруг,  
Не было времени —  
Да стало досуг.  
Порешили ехать  
С молодой женой  
В Заволочье синее  
Гладью водяной.  
Выходила на берег.  
Говорила мать:  
— Надо ей, молоденькой,  
Родину казать.  
Чтоб на сердце — ясно,  
Чтоб в глазах — не дымно  
Чтоб не слой — три слоя  
Жизни было видно. —  
... Водополь веселая,  
Стукнув о борта,  
Позади свивается  
В белых два жгута.



Волны-то катаются —  
Белые кряжи,  
А в лицо черемуха  
Будто бы пуржит.  
Белое-то озеро  
Шире широка,  
Словно протянувшееся  
Утро сквозь века.  
В дымку заозерную  
Зорче взгляд упри:  
Вычертится Новгород  
Из седой зари.  
А оттуда в лодках  
Дыбом, внахлест  
Выгребают молодцы —  
Дюжая кость.  
А в глазах — полнеба,  
В бородах — ветра,  
На ремнях с насечкой —  
Отблеск топора.  
Душу потешили  
Эти топоры:  
Рублеными молниями  
Прянули шатры.  
И горели гормя  
Выше грив лесных,  
Будто капли солнышка,  
Луковки на них.  
До студёна моря —  
Во какой размах! —  
Обживались гости  
В белых теремах.  
Веял жар застенчивый  
В женах молодых,  
Свет летел на плечи

От волос льняных.  
Этот жар не слабнул,  
Этот свет не мерк  
С добротой, с достоинством,  
С верностью навек.  
И они рожали  
В горницах детей —  
Золотое крыльшко  
Красоты своей.  
Сквозь леса, сквозь годы,  
Тихое на вид,  
Все оно летело,  
Все оно летит.  
... Смотрит Северяновна  
В эту даль востро.  
И во мне светает:  
Чувствует родство.  
... Вот на горизонте  
В елочный проём  
Вплыло Ферапонтово  
Каменным костром.  
От страстей великих,  
Бушевавших в нем,  
Сквозь столетья лики  
Теплятся огнем.  
Взлет певучих линий  
В храме одержим  
Голубым, малиновым,  
Белым, золотым.  
А вокруг да около  
Сколько люда тут!  
Из краев далеких  
Едут и идут.  
А оттуда, с выси, —  
Взгляд и мудр и прям,

Будто Дионисий  
Это смотрит сам.  
... Долго Северяновна  
Бродит в тишине.  
Видит, видит главное,  
То, что видно мне.  
И опять над мачтами  
Шелестит кумач.  
Это что? Не сказка ли  
Ткется между мачт?  
Это лебедио  
Ткётся к ряду ряд  
Заволочья дивного  
Первостольный град.  
На плечах — узорочье,  
На поясе — вязь.  
Зелено и солнечно  
Он встречает нас.  
И плывут румяные  
В сторону дымы.  
... Глянь-ко, Северяновна!  
Вот и дома мы.  
В платье ловком, простеньком,  
Очень молоду,  
По дрожливым мостикам  
С палубы веду.  
По тесовой пристани,  
Где пенится квас,  
Мимо глаз завистливых,  
Мимо добрых глаз,  
Прямо на дорогу —  
Волосы вразлет!  
Гляну сбоку —  
Свежесть опахнет.  
Улыбнется милая.

И в руке легка  
Полная и сильная  
Жаркая рука.  
Мы летим мимо  
Домиков в резьбе  
По проспекту длинному  
В комнату к себе.  
В ней в окошке любом  
Плавает солнце...  
Была бы любовь —  
Счастье найдется.

1967 год



# ПОЗЁМКА

Виктору Коротаеву

И ночь, и снега —  
Я один средь полей,  
Дорога долгая  
До деревни моей.  
И в черных лесинах  
Мерцает едва  
Луна, что лосиная  
Голова.  
Струится позёмка,  
Как будто во мрак  
Летят вперегонки  
Стаи собак.  
И чистые звонь  
Морозной струны  
Зовут меня снова  
В снега старины.  
Я вижу, как звездно  
Там снег искрит.  
Я слышу полозьев  
Далекий скрип.  
Лихой на холоде  
Крик возниц  
И топот с хлопаньем  
Рукавиц.  
И вдруг из облака —  
Взгляд коня.  
С дороги побоку,  
В снег — меня.  
И пролетели,

Меня обдав  
Сухой метелью  
Душистых трав.  
Встаю и вижу:  
К ним из ворот  
Пчелою рыжей  
Фонарь плывет.  
Потом и в доме  
Зажегся свет —  
Снопом соломы  
Упал на снег.  
Смотрю и думаю:  
Дай зайду,  
Речь про судьбу мою  
Заведу.  
Годов завесу  
Мы отстраним.  
Как интересно  
Должно быть им  
Услышать громкий  
За дверью стук,  
Меня, потомка,  
Увидеть вдруг!  
А двери в избу  
Ох, тяжелы!  
Столетья виснут  
На петлях мглы.  
Стучу, толкаю —  
Душа зашлась:  
Я с мужиками —  
С глазу на глаз!  
Струит навесная  
Лучина свет.  
Я их знаю,  
Они меня — нет.  
Первый Роман —

Он прадед мне.  
Второй Иван —  
И тот по родне.  
Здороваюсь, застя  
Свет рукой.  
Бают:  
— Здравствуй...  
Кто такой?  
— Да свой, — отвечаю, —  
Я правнук ваш!  
Пожали плечами:  
Мол, что за блажь?  
И замерли. Люто  
Лучина трещит.  
В глиняном блюде  
Стынут щи.  
И долго и резко  
Смотрят они,  
— Ну что ж, не побрезгуй,  
Поешь, отдохни...  
Сажусь, не умея креститься,  
К столу.  
Мужицкие лица  
Бледнеют в углу.  
Мужицкие руки  
Три раза подряд  
В холодном испуге  
Крест сами творят.  
И я извиняюсь,  
Теряюсь тут:  
В руках-то тяжесть —  
Не шевельнуть.  
Напротив — прадед.  
Скулы тверды  
В черной оправе  
Густой бороды.



А взгляд простодушен,  
Даже свят.  
Лето пастушье  
Таит взгляд.  
Весь он очерчен  
Синью окна,  
И на оплечье  
Заплатка видна.  
Любуется прадед,  
Не верит мне.

— Ужель ты и вправду  
Нам по родне?  
Но хмурит лицо  
Отчужденно Иван:  
— Да он из купцов  
Аль каких дворян.  
А, может, чиновный —  
К теплу привык.  
Но нам не ровня,  
Нет, не мужик!..  
Я голосом твердым  
Твержу, торопясь:  
— Я ваш, но в четвертом  
Колене от вас!..  
— Чудно как! Послушай,  
Скажи-ко нам:  
А сколько на душу  
Земли-то ТАМ?  
— А ныне у нас, —  
Отвечаю я, —  
Сколь хватит глаз —  
Вся твоя земля...  
Глядят, не мигая,  
Хлопнув в бока,  
По-истуканы  
Два мужика.

И я поскорей  
Поясняю ответ,  
Что много полей,  
Но собственных нет...  
— Ну, вот что: уймися.  
Встают предо мной.  
— Ты врешь, будто писарь  
Наш волостной.  
Нам некогда лясы  
С тобою точить,  
Коль хошь, забирайся  
Да спи на печи.  
А утром, коль правнук —  
Смеются они —  
За сеном отправим,  
Вот тут и тяни...  
Снимают рубахи  
В порыве крутом,  
Которые пахнут  
Тяжелым трудом.  
Крепки и красивы  
В своей простоте.  
Померяться б силой,  
Да силы не те.  
Не выдюжить — чувствую —  
Сразу сдам...  
Чадно и тускло  
Здесь по углам.  
И длится молчанье,  
И сам я затих,  
И тут замечаю.  
Что выдумал их.  
Что с этой избою  
Я сказку творю  
И сам я с собою  
За них говорю,

То дальше, то ближе  
Двигаю свет.  
Я их вижу,  
Они меня — нет.  
Как тайна, как чудо,  
Текут года:  
Видно — откуда,  
Не видно — куда.  
И жесткой солью  
Струится снег  
От поля к полю,  
Из века в век...  
И вдруг на откосе  
Из дальних веков,  
Словно кто бросил  
Горсть угольков.  
Здравствуй, деревня!  
Прими, отогрей...  
Веничек дремлет  
Возле дверей.  
Ноги вычистил,  
Встал за порог  
И электричество  
Пальцем зажег.  
Как будто в август  
Сразу попал.  
Курю, наслаждаясь,  
Болгарский «Опал».  
И слышу, как звонко  
У наших ворот  
Вихрится поземка  
И в полночь метет.

1971 год



# ЧЕРНЫЙ ХЛЕБ

## О РОДСТВЕ

В нашу речь встает всех проще,  
Чтоб родством сердца вязать,  
В ряд со строгим словом «тёща»  
Удалое слово «зять».  
А ведь есть других-то сколько!  
Веют древностью глухой  
И теплом «свекровь» и «свекор»  
Вместе с тихою «снохой».  
Соотносится с доверьем  
И участьем неспроста  
Слово «шурин» к слову «деверь».  
Ибо равные места.  
И, придуманные ловко,  
Могут впрямь свести с ума  
Слово дерзкое «золовка»  
С обольстительным «кума».  
И божественно и жарко  
Отзывается в душе  
Слово доброе «божатка»,  
Ныне редкое уже.  
Даже тот, кто вовсе дальний,  
Уж чужой, был все же чим.  
Привечали, называли:  
«Нам он будет по своим».  
Слово каждое светилось  
И в достатке, и в нужде:  
Колесо родства катилось  
По глубокой борозде...



Это хаять не годится  
Для чужого торжества.  
Я и сам, конечно, спица  
В колесе того родства.  
Поумнев, я точно вызнал,  
Отчего я так окреп.  
То родство служило в жизни  
Для меня, что черный хлеб...  
Черный хлеб с печного пода,  
Он — не просто липть ломоть,  
А радущие народа  
И земли родимой плоть.  
Хлебный корень густо вьется  
В пашне, влагой налитой.  
А над ней восходит солнце —  
Это колос золотой.  
Зерна книзу колос клонят,  
И летят, летят они  
На крестьянские ладони —  
Это наши с вами дни.  
Ничего отрадней нету,  
Чем, сойдясь в родном краю,  
Благодарно в руки эти  
Положить ладонь свою.  
Потому я и волнуюсь,  
Очутившись в тишине  
Деревянных старых улиц,  
Так давно знакомых мне.  
Снова звезды в небе стылом  
Голубеют, как во льду.  
Тропки снегом завалило,  
Тропку свежую веду.  
Предо мною чутко дремлет  
Под пушистой белизной



Пенсионная деревня  
Стороны моей лесной.  
Светят лампочки в окошках  
Сквозь куржавину и лед,  
Словно спелая морошка,  
Принесенная с болот.  
И легко иду я к дому —  
На тепло и на ночлег.  
Где живет один знакомый  
Старый русский человек.  
Здесь, поди, во всей округе  
Старше нету никого.  
Одногодки друг за другом  
Все покинули его.  
Корнем крепок он, однако,  
Жизнь его — что перевал.  
Словно конь на пашне, всяко  
Так и эдак — он живал...  
Рад увидеть гостя в доме,  
Мне светло навстречу встал.  
Жарко сходятся ладони  
В знак привета и родства.  
Взгляд сердечный, неизменный,  
Только брови — что в снегу.  
С грустью вижу перемены,  
Но утешить не могу.  
Хорошо его послушать,  
В теплом доме погостить,  
Освежить раздумьем душу.  
Посмеяться, погрустить.  
Старый ум покуда ясен,  
Память долгая жива.  
Не соврет, не приукрасит —  
Только высветит слова.



## О ЖЕНИТЬБЕ

Ну, как сказать тебе поглаже...  
У нас текёт занятно жизнь.  
Кто овдовеет — живо скажут:  
Пока не помер — так женись.  
При прежней бытности-то, парень,—  
Да ты и сам из этих мест,  
Так слышал — сами выбирали  
Мы, мужики, себе невест.  
А ноне... ладно б молодушки,  
Так и старухи — ой, лихи!  
Все мужики у них на мушке,  
Все на прищеле женихи.  
Вот про себя скажу, к примеру:  
Вдовец. Решил один дожить.  
Жениться — что в другую веру  
Мне, христианину, вступить.  
Так нет, земляк, не наша сила:  
Не звал, а сваха — на порог.  
И столь всего наговорила,  
Что ни словечка поперек.  
Вторично — что коня в упряжку,  
А сам-то — тьфу! — запнусь в траве.  
Бывает, день ищу фуражку,  
А хвать — она на голове.  
Да бабам что — не станешь вровень,  
Одно твердят — теплей вдвоем.  
А что касательно здоровья,  
Так за здоровье, мол, попьем.  
И оженили... В новой жизни  
Проснулся будто сам не свой.  
Смотрю: ну прямо голубь сизой,  
Стоит хозяйка надо мной.  
«Давай,— бодрит,— вставай, хозяин,



И будем к делу приступать».  
Смекаю: эти штучки знаем,  
Не так уж, право, простоват.  
Но подниматься, вижу, надо:  
Женился — нечего дремать.  
Такая, веришь ли, досада,  
Что, извиняюсь, вспомнил мать.  
Но к самовару сел с улыбкой:  
Держись, коль вышел поворот!  
В избе уже свободной рыбкой  
Моя заботница снуёт.  
«Вот, — говорит, — под этой крышей  
Не целовали мы икон.  
А ветром жизнь свою не пишут —  
Пойдем и встанем под закон».  
Что возразишь? Я жизнь изведал...  
Надел пиджак хороших лет,  
И на крыльце за нею следом,  
И покурлыкал в сельсовет.  
Дымлю за нею папиросой.  
«Батог-то брось», — мне говорит.  
Ну, повертел батог и бросил,  
А без него — что инвалид.  
Да делать нечего, и вправду  
Неловко: все-таки жених.  
До сельсовета так и правим —  
Она молчит, и я притих.  
А в сельсовете быстро пишут,  
Не то что прежде, — благодать.  
И никаких вопросов лишних,  
И долго нечего стоять.  
Ее спросили: «Вы согласны?»  
Она, меня поотстраня,  
«Согласны, — говорит, — согласны», —  
И за себя, и за меня.



Ну, тем и кончилось.  
В минуту  
Связали век ее и мой.  
Идем обратно мы, как будто  
Сходили вместе за водой.  
Она, смотрю, сияет жаром,  
Бок о бок — новая родня.  
И утешает: «Ты не старый.  
Нет, ты не старый у меня.  
Теперь забегаешь, как милой,  
Уж позабочусь я, жена...»  
Ох, бабы, брат, большая сила,  
Им власть огромная дана.

### О ВИНЕ

Вот у тебя уже ухмылка...  
Но я скажу, а ты вникай:  
Теперь чуть что — на стол бутылка,  
А раньше было — каравай.  
Признай же это, сделай милость,  
И согласишься без обид,  
Что раньше сердце веселилось,  
А ныне сердце-то болит.  
Читал однажды я газету —  
Газеты, брат, у нас в чести, —  
Так вот, туда статейку эту  
Один писатель поместил.  
Он, слава богу, не нахвастал,  
Не лез куда-то в высоту,  
А всех людей позвал о пьянстве  
Поговорить начистоту.  
И написал он справедливо,



А я б добавил, что вино  
Столь многих в жизни заблудило,  
Что уж командует оно.  
Вчера скриплю снежком под вечер,  
А тихо было — дым прямой.  
Гляжу, мне рубщики навстречу  
Из лесу правятся домой.  
То встанут этак боковато,  
То вдруг начнут в снегу петлять.  
Я — им: «Что, ветreno, ребята?» —  
«Ой, дедко, ветreno опять».  
Скажи: в лесу какая лавка?  
А где-то смырят, ну, найдут.  
Ведь молодые. Ох, как жалко.  
Ну а винить кого же тут?..  
Толкуют: стали жить богаче,  
А потому и веселей.  
Веселье — что же это значит?  
Бутылка, что ли, на столе?  
Нет, брат, худая это песня —  
Жизнь интересна не вином,  
А трезвым делом интересна.  
Когда же пьем — мы не живем.  
Нас нету в жизни — хоть и живы:  
В тени стакана мы стоим.  
И потому-то все фальшиво.  
Что перед ним и что за ним.  
Страшна, приятель, тень стакана —  
В тени не виден человек.  
Стоит он вроде истукана,  
И белый свет в глазах померк.  
Веселье, нет, не угощенье,  
Мы так напрасно говорим.  
Веселье — сердцу утешенье  
Здоровым промыслом своим.



## О ПЕНСИИ

Добро живем — вот только солнце  
Не греет, стонем от простуд.  
А так, дыши — само живется,  
И деньги на дом принесут.  
Лишь распишись у почтальонши,  
И в кучу денежки сгребай,  
Да кренделей бери побольше,  
Да запасай индийский чай.  
Да покупай батон с изюмом,  
Конфеты с мякотью внутри...  
Грех обижаться — сам подумай,  
Вон на старуху посмотри.  
Я замуж брал такую разве?  
Пошла на пенсию и вот  
В одежду прежнюю не влезит,  
Обновы, что ни праздник, шьет.  
Добро живем. Оборотились,  
Хоть и с большим для нас трудом,  
Труды былые в справедливость,  
И посветлел крестьянский дом.  
И есть за что! Поклали силу,  
Погоревали от разлук.  
Но мы тяжелый серп России  
Не выпускали век из рук!  
Таких железных и работных,  
Как мы, и нету — хоть куда...  
Чудные: что такое отдых,  
Не понимали никогда.  
Так вот, когда настало время  
И наших пенсий — боже мой! —  
Тогда лишь русская деревня  
Определила возраст свой.  
И то с трудом: то метрик нету,



А то о выслуге бумаг.  
В архиве ищут, в сельсовете,  
Туда-сюда — и нет никак.  
Вон посмотри в окно на домик.  
Машутка в нем, вдова, живет.  
Она своих годов не помнит,  
Ну, не ведет обычный счет.  
Так вот, у этой у Машутки  
Нигде не писаны дела.  
И что? Сама же сводит к шутке:  
«А я, робята, не жила».  
Но тьма людей-то наторелых —  
Они в годах прикинут счет  
И говорят ей: «Остарела».  
«Нет, я могущая еще».  
«Но как же с пенсиеей?»  
«А стану  
Просить совхоз, коль пошатнусь».  
«Так срок твой вышел по уставу».  
«А я за сроком не гонюсь...»  
Всю жизнь бедовая такая,  
В любом-то деле — что горит.  
«Ведь я работаю руками,  
А не годами», — говорит...  
Вот это, брат, натура наша!  
А кто-то жмет свои года:  
Скорей постарше бы, постарше —  
Когда же пенсия, когда?!

Иной, бывает, и не старый,  
Уйдет от службы — и затих:  
Он пишет — как их? — мемуары  
О важных подвигах своих.  
И что он там не нагородит!  
Стишками часто... Был такой,  
Ни сват ни брат, знакомый вроде.



Послушал я — махнул рукой.  
Не надо всем писать под старость,  
Когда сгорела жизнь дотла:  
Добро вершил — добро осталось,  
А нет — развеется зола.

### О ВЕЧЕРАХ

Спасибо, что приехал в гости,  
Люблю, кто больно тороват.  
Нам время — что! Нам ныне просто  
В тепле таком вечеровать...  
Вот печку снова накалили,  
Углей нажгли... (И красный жар,  
Что гроздья пламенной калины,  
В совке он тащит в самовар.  
И в кухне сразу забасило —  
Вода взвилась на белый ход.  
И самовар уже насилиу  
Старик, как увальня, несет.)  
Сейчас утихнешь ты, капризный,  
Уж погоди — попьем, а там  
Тебя долой — и телевизор  
Чего-нибудь покажет нам...  
(Старик заварку ладит важно.)  
А телевизоры у нас  
Зовут «бездельниками». В каждом  
Дому «бездельники» сейчас.  
Но это в шутку, хоть и правда.  
Я помню, как по вечерам  
Сходились женщины, и пряли,  
И сами пели песни нам.  
Ах, были песни! Ты не слышал...  
Как заведут да поведут —



Так что там стены, что там крыша, —  
А степь, и лес, и поле тут.  
И ничего душе не жалко,  
И никаких не надо слов —  
Глядишь, за песней да за прялкой  
Навек и выпрядут любовь...  
Иной устав и облик ныне,  
И прялки брошены давно,  
И нитки тянутся льняные  
На ткацкое веретено.  
И телевизоры мигают,  
Как будто длинные глаза.  
Глаза такие обегают  
И землю всю, и небеса.  
Ох и дивились мы вначале!  
Все отвалились от работ  
И до полуночи торчали,  
Поди, неделю напролет.  
Прибродит к нам и тетка Олья,  
Уж до отого она стара,  
Что куриц выпустит на волю  
И заплутает средь двора.  
А тут пришла, сообразила.  
Видать, и ей покоя нет.  
На эту пору телевизор  
Решил показывать балет.  
«Мужик-то голый! Да и вертит,  
Смотрите, голых... Нет стыда!  
Ой, право, в ящике-то черти,  
Теперь деваться-то куда?»  
И закрестилась, замахалась  
Да и попятилась в подклеть.  
Ну, смех, конечно. А на старость  
Без смеха надо бы глядеть.  
Балеты нынче, слышал, в моде.



Ну, что кому. А нам сейчас —  
Про нашу жизнь, про наши годы,  
Но без кривуль и без прикрас.  
Да постановок бы хороших,  
Чтоб защемило, парень, тут.  
Чтоб вспомнил все, что в жизни прожил,  
Узнал, как за морем живут.  
Да песен больше бы прекрасных,  
Чтоб голос сердце возносил!  
А то поют, так все с притрясом,  
Бывает, слушать нету сил...  
Ну, посумерничали славно,  
Отдвигай в сторонку чай.  
Идут соседки, слышь, гулявы, —  
Давай «бездельника» включай...

## О ВОЙНЕ

Железом дважды я обласкан,  
А это стоит что-нибудь,  
В плечо попало на гражданской,  
А на Отечественной — в грудь.  
Когда умрем, в могилах долго  
Без тленья будем мы лежать.  
Лишь по невынутым осколкам  
Пойдет — само собою — ржавь.  
Нас крепко жизни обучала  
Война — добром не помянуть!  
Война — так в грудь свинец сначала,  
Потом лишь — золото на грудь.  
Да что о том, лишь сердце маять.  
А расскажу я о другом,  
Как мы со всей округи в мае  
Сошлись, солдаты, за столом.



День выпал чистый, но холодный,  
И потому сошлись в избе,  
Хоть не родня совсем, а вроде  
Все — братья кровные тебе.  
Смеемся, шутим друг над дружкой:  
Ведь живы, хоть и мало нас.  
И, как бывало раньше, — кружки,  
Стаканы сдвинули зараз.  
И потянуло к разговору  
Про фронтовую нашу жизнь.  
И знаешь, выяснилось вскоре,  
Что все фронта в избе сошлись.  
Я был на том, сосед — на этом,  
А третий бился на другом,  
Четвертый — дальше за соседом,  
А пятый — на море самом.  
Как широка Россия наша  
И в горе, знаешь, как люба!  
Лишь за нее нам было страшно,  
Совсем не страшно за себя.  
Вот потому-то нас и мало...  
Налили снова дополна:  
За тех, кого недоставало,  
Мы опрокинули до дна,  
Как будто встали с ними вровень,  
И горько было — мочи нет.  
Но тут хозяйскою гармонью  
Рванул во все меха сосед.  
И отошло, и полегчало,  
И снова в окнах рассвело.  
И все задвигали плечами,  
Как бы почуяли тепло.  
И в круг широкий поманило.  
Эх, знаешь ли, как надо жить:  
На радость горя половину



Сумей всегда переложить!  
И зашатались половицы,  
И заскрипели сапоги,  
Как будто годиков по тридцать  
Смахнули с плеч фронтовики.  
Как будто годиков по тридцать  
И все еще у главных дел.  
Вдруг слышим: «Колька,  
Колька, где ты?»  
Взглянули: Буков захмелел.  
Он до того сидел без звука.  
Большой, что угол в том дому,  
И видно, брата вспомнил Буков,  
И стало брата жаль ему.  
Он стол с посудой отодвинул,  
В толпе рукой расчистил путь  
И разогнул сухую спину —  
Все мужики ему по грудь.  
Он инвалид, нога не гнется  
В колене, ходит — что метет.  
А тут, глядим, на пляску рвется  
И ногу вытянул вперед.  
Все расступились.  
Слышим только,  
Как он, рубаху теребя,  
Кричит одно: «Эх, Колька, Колька!  
А я хоть топну за тебя...»  
И начал топать да кружиться,  
Да на одной-то все ноге.  
Стонало горе в половицах,  
Стонало горе в потолке.  
А та, которая не гнется,  
Нога торчала, словно жердь.  
Смахнул бы все,  
Что подвернется,



И было больно нам смотреть.  
Ну а гармоньня так играла,  
Так пела, чуть ли не рвалась.  
И хоть народ сидел бывалый,  
Но слезы вышибло из глаз.  
Добро, что бабы не видали...  
Вот что такое, брат, война.  
А ты мне — что-то про медали,  
А ты мне тут — про ордена.

### О ЗЕМЛЕ

Для вас, которые моложе,  
Земля — лишь песни да слова.  
А для меня — одно и то же,  
Что сердце, руки, голова.  
Вот так занятно получилось —  
За нами вы, ребята, шли  
И на своей земле родились,  
Но без своей уже земли.  
А я к земле приставлен сроду,  
К земле, ну, к пахоте самой,  
И всю познал ее невзгоду:  
Что было с ней, то и со мной.  
Я — двух веков крестьянский житель.  
И в старом веке я имел  
Угодье трав, участок жита,  
Ну то есть собственный надел.  
И землю эту отдал людям,  
В колхоз вступил я с первых дней,  
Но было трудно, ох как трудно  
Ее признать опять своей,  
Она как будто бы остыла,  
Когда пошла под общий плуг.



И стала — что скрывать — постылой,  
Ничьей как будто стала вдруг.  
Хотя умом-то ведал: наша,  
Да вот поди... Лишь не спеша  
Я понял, что земля — не пашня,  
А что земля — моя душа.  
Душа, в нее попробуй вникни,  
Коль там межа по-за меже.  
Какие есть на свете книги,  
Все, до единой, о душе.  
Писали люди их веками  
И ныне пишут хоть куда,  
И все вникают, все вникают —  
Не знаю, вникнут ли когда.  
А я хоть тёмен был, но понял,  
Что хоть греши, хоть не греши,  
А начинай устройство поля  
С устройства собственной души...  
А ведь земля, взгляни-ко, — диво!  
К ней прислонись навек душой,  
Так и в несчастье ты счастливый,  
Так и в беде — ты сам большой.  
Вдохни-ко — так и кормит духом!  
Вчера иду — парит везде,  
И слышу — пробует Колюха  
Свой трактор в свежей борозде.  
Колюху я по звуку знаю.  
Пусти хоть десять тракторов,  
Так я с закрытыми глазами  
Скажу, который тут Быстров.  
Он звук ведет, как будто пляшет.  
Да и плясать, стервец, мастак!  
Он генерал лесов и пашен,  
И без него теперь — никак.  
Он сеет хлеб, картошку садит,



Прёт без пути и без дорог...  
И на центральную усадьбу  
Уж полдеревни уволок.  
И мне говаривал зимою:  
«Чего живешь к земле впритык?  
Давай-ко я тебе устрою  
Переселение, стариk».  
А я: «Зачем?» Он скалит зубы:  
«Да как зачем — чтоб не отстать  
И с молодой женою в клубе  
Кино глядеть и танцевать». —  
«Но мне и здесь, — твержу, — не скучно.  
А у тебя такой напор,  
Что свёз бы всю Россию в кучу.  
А ей ведь надобен простор». —  
«Простору хватит, — он смеется, —  
И силы нам не занимать.  
Я сам вытягиваю солнце,  
Чтоб вам утрами не проспать».  
(И он, хвастун, ответил верно:  
В его руках сто лошадей,  
И раньше всех встает в деревне,  
Да и ложится всех поздней.)  
«А ехать ежели не хочешь, —  
Он говорит, — живи себе,  
И стереги тут пни да кочки,  
Да мух дави в своей избе.  
А мы наведываться станем...»  
Вот вышла в жизни колея.  
Последний, может быть, крестьянин  
В своей деревне — это я.  
Колюха, парень он полезный,  
Но вроде как мастеровой:  
Не столько в землю, сколь в железо  
Пока вникает головой.



А вот ему бы на подмогу,  
Чтобы азарт к земле не стих,  
Парней толковых бы немного  
Да девок, девок молодых,  
Чтоб нарожали тут народу  
И жили, сердце веселя.  
И вот тогда-то новым ходом  
Пошла бы матушка-земля.  
И мы, взглянув на ваш зажиток,  
Смогли спокойно бы сказать,  
Что наработались досыта.  
И, значит, время умирать.

### О СМЕРТИ

А век живу — не надоело,  
Хоть было горя и обид...  
Смотри — рубаха близко к телу,  
А смерть и ближе, может быть.  
Страшит ли смерть — тот миг  
последний,  
Который вырвет свет из глаз?  
Нет! А страшит всегда предсмертье.  
Что на земле не будет нас.  
И лишь покаяться возможно —  
Поправить ничего нельзя  
В своих словах, слетавших ложно,  
В своих годах, прожитых зря.  
Я мыслю так — меня не путай,—  
Что человек без всякой лжи  
Лишь в те, предсмертные минуты  
И узнаёт, как надо жить.  
Но рассказать уже не может,  
Других не может научить.



И тайну с ним на смертном ложе  
Погасят черные лучи.  
Одно дается нам — как следно  
Уйти и свет не заслонить...  
Ну вот послушай напоследок  
Про Катерину — так и быть.  
Она как будто бы с березы  
Скатилась в мир и век жила.  
И полила ночами слезы —  
Вот и лицом была бела.  
И то сказать: ее хозяин  
Погиб в бою за город Брест.  
И Катерину замуж звали —  
Всем отказала наотрез.  
Свою беду одна бедуя,  
Осталась верная себе:  
Откуда ветер ни подует,  
А все равно — в ее избе.  
Но никаких от бабы жалоб  
И никакого людям зла.  
Иным и нынче не мешало б  
Попомнить, как она жила.  
И вот когда пошел мутиться  
Пред Катериной белый свет,  
Примчалась на дом фельдшерица,  
А Катерины дома нет.  
Ну, где она? Куда пропала?  
Искать! (А бабы рвали лен!)

Так отыскали за снопами:  
В руках со льном сидит в наклон.  
В себе была. Лишь под глазами  
Холодное наволоклось.  
«Вот и пора, — она сказала, —  
Теперь уж я — ни в сноп, ни в горсть...\*  
Ну тихо под руки подняли



И повели. И шла она  
В последний раз по травам вялым  
С волоткой сорванного льна.  
На остановках через силу  
Касалась трав и борозды  
И баб испуганных просила  
Сорвать какие-то цветы.  
Но бабы в этих травах жухлых  
Цветов увидеть не могли  
И поднимали вновь старуху,  
Как отрывали от земли.  
Она с беспомощным укором  
Сквозь них глядела — дрожь брала.  
Потом с улыбкою покорной  
Неторопливо вновь брела.  
Когда дошла до той березы,  
Что у ее стоит окна,  
Остановилась и бесслезно  
Кору погладила она.  
И вдруг упала... В дом старуху  
Уж заносили на руках.  
Шептала, знать, молитву глухо,  
Понять пытались, но никак.  
А фельдшерица — ясно дело  
(Как и в дороге) — вокруг нее.  
Вдруг Катерина поглядела —  
Из забытья и в забытье —  
Так ясно, чисто поглядела,  
Да так спокойно, что в избе  
Затихли все оторопело,  
И стало всем не по себе.  
А Катерина фельдшерицу  
Чуть отстранила, а потом  
Сказала: «Дали бы напиться



С реки...» И сразу ожил дом!  
Ведро схватили — и на речку:  
Лишь ветром вымело следы,  
Лишь дважды звякнуло крылечко —  
И вот несут стакан воды.  
А речка, знаешь сам, какая:  
На дне ее кипят ключи.  
Роса дымится на стакане,  
А в нем расходятся лучи.  
Но руки старые ослабли —  
Стакан дрожал, и ей на грудь  
Текли, текли большие капли,  
Но не давала их стряхнуть.  
Пускай текут — полегче телу.  
Вздохнув, откинулась назад  
И на простенок посмотрела,  
А там на снимке — муж-солдат.  
Я знал его. На снимке вышел  
Он, будто парень, молодым.  
И Катерина еле слышно  
Шептала что-то перед ним.  
И заревели наши бабы.  
Она рукой подозвала:  
«Вон там, в шкафу!» — сказала  
зябло;  
В глазах уже скопилась мгла.  
Открыли шкаф. А там, как следно, —  
Одежды горестный запас.  
Сама себе наряд последний  
Заране сшила — знала час.  
И бабы встали тихо, с краю...  
Она, березово-бела,  
Вздохнула тихо: «Умираю...» —  
И умерла.



## СПАСИБО

Благословенен час меж тьмой и светом!  
Проснешься — а в избе еще темно.  
Как древняя икона, чуть заметно  
Вытаивает синее окно.  
За кухонной заборкою сквозь щели  
Желтеют блики наподобье свеч.  
И слышишь, как спокойно и священно  
Хозяйка вновь растапливает печь.  
О жизни круг! Воистину чудесно  
Гудит в печи березовый огонь,  
Вода вскипает, и ложится тесто,  
Что в колыбель, с ладони на ладонь.  
И ты не спиши, хотя глаза сомкнуты,  
Лежишь, как будто в облаке, в тепле  
И понимаешь в эти вот минуты,  
Как хорошо родиться на земле.  
И жить на ней. И верным быть родному  
Обычаю, порядку и огню!  
Лежишь и улыбаешься сквозь дрёму  
Хозяйке, утру, будущему дню.  
И чувствуешь — опахивает с кухни,  
С печной лопаты, с пода самого  
Ржаным, горячим, в ноздри бьющим духом:  
Явился хлеб — как жизни торжество!  
Пора вставать! Уже — гляди-ко — в окнах  
Скопилась тихо голубая высь.  
И облака, что длинные волокна,  
На розовых лучинах подожглись.  
Скорей умываться! И горстями шумно  
Ты плещешь на себя такой водой,  
Что если молод — сразу станешь юный,  
А если стар — то сразу молодой.  
Потом берешь льняное полотенце,  
Беленное на мартовских снегах.



Раз утереться — на день разогреться,  
Как будто свежесть подержать в руках.  
А на столе в сиянье чистых окон  
Лежат, что золотистые круги,  
И каравай, с достоинством, высокий,  
И перед ним — с начинкой пироги.  
Вот чем от горя мы всегда хранимы.  
Я, может быть, в глазах того нелеп,  
Кто говорит, не хлебом, мол, единым...  
Но что без хлеба? Здравствуй, черный хлеб!  
Сажусь за стол с хозяевами рядом.  
Старик неспешно режет каравай  
И на меня глядит хорошим взглядом —  
Ешь на здоровье, гостьбу вспоминай.  
От них опять я уезжаю в город:  
Там ждут дела, товарищи, семья.  
Старик грустит: «Приедешь к нам вдругорядь  
И не застанешь, может быть, меня». —  
«Ну что ты! — говорю ему. — Ну, полно...»  
А он перебивает: «Хошь не хошь,  
А срок я чую. Ты меня попомни,  
Приди ко мне — услышу, как придешь».  
От этих слов под сердцем зазнобило.  
Я говорю, но чувствую опять —  
Слова пусты. Они теряют силу,  
Когда неправду силишься сказать.  
Ну а старик — вот умница — с улыбкой  
Перебивает: «Больно не тужи!  
Когда приедешь, не печалься шибко,  
Иди к Быстрову, славный он мужик.  
И встретит, и, куда ты хошь, прокатит.  
Ему бы на кабину бубенец!  
Что жеребца, пришпоривает трактор,  
Смотри, чтоб не пришиб кого, стервец...»  
И вновь от сердца отлегло, и надо  
Сбираться в путь. Дневник закончен мой —



Открыл его с последним снегопадом,  
А закрываю с первою травой.  
Перед уходом посидев на лавке,  
Застегиваю лямки рюкзака.  
«Спасибо», — низко кланяюсь хозяйке.  
«Спасибо», — обнимаю старика.  
Растроганы прощальнойю минутой,  
Они стоят беспомощно в избе  
И руку жмут: «Ну, ветерок попутный,  
Ну, путь-дорога скатертью тебе...»  
Я выбираюсь на проселок древний,  
А он пластом чернеет и ползет.  
Куда ни гляну — врублены деревни  
Сплеча, с размаху в русский горизонт.  
Они стоят бесхитростно и просто  
И доживают век великий свой.  
Деревни — родовые наши гнезда —  
Омыты грозовою синевой.  
Но сердце ничего не позабыло,  
И я поклоном кланяюсь земным  
И слово древнерусское «спасибо»  
Произношу всем существом своим.  
И, сорванное с губ зеленым ветром,  
Подхваченное кликом журавлей,  
Осыпанное белоцветьем вербным,  
Оно летит над родиной моей.  
Летит, летит и набирает силу  
Других, душеозвучных голосов:  
Спасибо, деревянная Россия,  
За колыбель,  
Науку,  
Хлеб  
И соль!



# ПЛАСТЫ

## I

Простор открыт. Грачи кричат: «Пора!»  
Оранжево горя, проходит трактор  
И сотрясает косогор с утра,  
Как будто прошивает черной дратвой.  
Под корпусами — во! какой размер —  
Сыра земля бурлит в четыре русла.  
Огромный звук — торжественное «эр»  
Летит над полем, над селом, над Русью.  
Где жеребцы, которые рысцой  
По свежей борозде гулять умели?  
Их выпряг трактор, крепких жеребцов,  
Как добродушный, но железный мерин...  
Привычно мне и радостно пройтись  
По борозде, железом разогретой.  
Я вижу: машет кепкой тракторист,  
Да ведь Быстров же! Да Колюха это!  
— На тракторе, — кричу я, — прокати!  
Хотя бы до околицы, как в песне.  
И он, дверной проем облокотив,  
Машину дыбит, что коня, на месте.  
По гусенице, как по глыбе льда,  
Неловко забираюсь я в кабину.  
А он смеется, кепку, как всегда,  
На самое надбровье надвинув.  
Приветливость в прищуре умных глаз  
И превосходство от большого дела.  
Да, крепок черт!.. Ну прокати хоть раз,  
Чтоб и моя душа помолодела!



Ревет мотор. И лес, как вырезной,  
Качается на горизонте синем.  
И кажется, что даже горизонт,  
Коль захотим, во всю страну раздвинем.  
Какая мощь! Лишь оглянусь назад —  
А там слепит, как будто солнце катим,  
И головнями черными скользят  
Грачи по плахам, влажным и горбатым...  
Работа эта — корень жизни всей —  
Стара, как мир, извечная работа!  
Паши и сей. Всегда паши и сей.  
Первой всех дел — паши и сей до пота!  
Не зря, не зря же русская земля  
В парном разливе утреннего солнца  
Плынет к тебе, туманно-зелена,  
Свежит росою и под сердце льется.  
Шумит и шепчет — лишь не будь глухим,  
Беспамятным не будь в сверканье красок.  
Она, земля, родилась от сохи,  
Попла от слез, а выросла от сказок.  
Вон погляди на синий окоём —  
Земля холмы так странно развернула,  
Как будто там стоит мужик с конем, —  
Уж это не былинный ли Микула?  
А может, твой же прадед или дед —  
У прошлого всегда одно обличье —  
По грудь в земле, туманами одет,  
Застыл на горизонте по-мужичьи...  
Туда, туда! Качается земля,  
И плещется о радиатор небо.  
Быстров кричит, глазищи округля:  
— Весна какая! Чую — пахнет хлебом!  
И так парит и пенится земля,  
Что закипают облака над нею.  
А Колька знай пластает рябь жнивья!



Эх, мне бы так, да только не умею.  
— Ну, мне пора, — я говорю ему, —  
Ты, брат, любого разозлишь на дело.  
Работать захотелось самому,  
Вот здесь, ты понимаешь, закипело.  
— О, понимаю! — он сбавляет газ,  
Смеется и руками ловит ветер.  
— А знаешь, ночевал бы ты у нас...  
— Спасибо, Коля. Только на примете  
Старик один. Я приезжал зимой.  
Жил у него. Его не ждет работа.  
О жизни мудро толковал со мной,  
Вот и еще поговорить охота...  
— Его я помню, — хмурится Быстров  
И торопливо курит сигарету.  
— Ну, как сказать... Не знаю этих слов...  
Ведь старика-то этого уж нету.  
— Как нету?  
— Умер... Ныне, по весне.  
Я гроб возил...  
В моих глазах темнеет.  
Грачи, грачи, грачи летят ко мне!..  
— Могилу, Коля, показал ты мне бы.  
— Да, покажу, лишь поле допахать,  
А там поедем, надо поклониться...  
И снова солнце бьется в лемехах  
И горько на моих дрожит ресницах.

## II

Не шумите вы, машины, сбавьте скорости:  
Здесь земля не роженица, а печальница.  
Церковь древняя свечой белеет горестной  
И с годами убывает, утончается.



Из каменьев да из белых так поставлена,  
Что в полях, в лугах, в лесах сверкает бликами.  
Здесь могила вековечного крестьянина—  
Мужика, Солдата, Пахаря великого.  
Уж ты, холм зеленый, холм, слезами вымытый,  
Чем же изукрашен для великой почести?  
Может, изукрашен плитами гранитными,  
С этих плит сияешь именем да отчеством?  
Может, ты увенчан благородным мрамором.  
Черным, словно пашня, красным, что ранения,  
И тревожишь сердце вырезанной траурно  
Строчкой из молитвы иль стихотворения?  
Только нет гранита, мрамора — тем более.  
Ты увенчан снова, как ведется исстари,  
Лишь крестом еловым, резким, словно молния,  
Крепко вбитым в землю, с каплями смолистыми.  
На кресте янтарном краскою с подтеками  
Имя, отчество, фамилия написаны —  
Не рассчитано на памятство далекое,  
Не грешили люди против этой истины.  
Так еще при жизни было им повелено,  
Так после кончины ими все исполнено...  
Уж ты, холм высокий, зеленеешь зелено  
И печалишь сердце деревянной молнией.  
Я кладу к могиле белую черемуху,  
Облачно густую выюгу лепестковую,  
И стакан вина я горько пью без роздыху,  
Вновь стакан налитый ставлю к изголовию.  
Думаю, склоняясь: «Вот пришел я сызнова,  
Только ты встречаешь в этот раз молчанием.  
Может, ты и слышишь, да тебя не вызволить —  
Руки повисают над землей в отчаянья.  
Ни умом, ни сердцем не понять бессилия.  
Только от бессилья слезы-то и катятся.  
Замерзает слово на губах красивое,



Истинное слово опадает на сердце.  
Только тем утешен, что тебя я видывал,  
Слыхивал тебя я вечерами зимними.  
Слово-то любил ты, смыслом плодовитое,  
Дело-то любил ты, радостью отзывное.  
Вот с холма смотрю я на поля российские,  
Где туман свивает солнцу красну бороду, —  
В них суровым плугом ты всю жизнь выискивал  
В тьме борозд несметных золотую борозду.  
На проселки гляну, желтые, тягучие, —  
Ими все деревни будто подпоясаны.  
А тобой проселки в шесть земель раскручены  
И узлом солдатским там на память связаны.  
На деревни гляну, дальние и близкие, —  
В них студеный ветер по посадам хаживал.  
За топор ты брался — потому и выжили,  
Положил всю силу — потому и зажили.  
И твоим уходом все пока пронизано:  
Свет, земля, дороги, думы неотвязные.  
Все, что надо было высказать прижизненно,  
Никогда не будет после смерти сказано.  
Так у нас ведется: только у надгробия,  
Словно спохватившись в те часы последние,  
Люди торопливо много скажут доброго,  
Много, может, скажут, да не то, что следует.  
Слов пустых и праздных мною не обронено,  
И звуцишь ты в сердце именем да отчеством.  
Всех травой зеленою укрывает Родина,  
С материнской скорбью, с материнской почестью.

### III

Иду с холма. Слова оборвались,  
Лишь удержаться не могу от вздоха.



Ведь прожита была не просто жизнь,  
А прожита огромная эпоха.  
Припомнилось, как говорил старик,  
Что он крестьянин на селе последний.  
У двух миров он встал на самый стык,  
И с двух сторон он сквозняки изведал...  
Другие ветры овевают нас,  
А трактор катит дальше синим громом.  
Нелепым показалось мне сейчас,  
Что ехал он со старицким гробом,  
Что в тишине проселков ледяных  
Не цокали любезные копыта,  
А грохали железные следы  
Под синевой, в последний раз открытой.  
И что не дровни на пути таком  
Тянулись вдаль березовой печалью,  
А кованые сани, как паром,  
Односельчан над старицом качали.  
И что на холм, завьюженный зимой,  
Дорогу расчищали не лопаты,  
А просто перед сталью лобовой  
Отпрянули сугробные накаты.  
...Я понимаю, что железный век.  
Но что-то в горле все же запершило.  
Нет, ни при чем тут, милый человек,  
Могучие и умные машины.  
Железным будь, да сердцем не черствей,  
Гляди вперед, а под ноги — не меньше  
И не сочти в размахе скоростей  
За пережитки конный ход и пеший...  
Я вспоминаю, как в деревню к нам  
Впервые бойко прикатил колесник.  
Шаражался народ по сторонам,  
Когда он по заборам куролесил.  
Ругались бабы. Мишка-тракторист



Глушил мотором бабий визг и ропот,  
Свистал в два пальца: «Эй, поберегись!  
Я не ручаюсь — это первый опыт!»  
И женщины ругались и ползли,  
А мужики, посторонясь, кричали:  
— Ты, Михаил, не трогал бы земли,  
А в лес давай, попробуй там сначала!  
Но Мишка отвечал им: «Наловчусь,  
Дам линию я дьяволу такому!»  
Однако бабы вновь лишались чувств,  
Когда колесник порывался к дому.  
— Да ты куда? — крестили матюгом.  
И трактор вновь откатывался бойко,  
И вся деревня бегала бегом  
За ним, как за трехлетком жеребенком.  
Он черный весь, и дым летел как хвост —  
Не подходи ни спереди, ни сзади,  
Но Мишка в руль, как будто в гризу, врос,  
Скрипел зубами: «Дьявол, обуздаю!..»  
И обуздал, и наловчился он,  
Всему колхозу показал характер.  
И день и ночь со склона и на склон  
Ходил по пашне Мишкин первый трактор.  
По грохоту подобен был грозе,  
Но глох и на пустячном перевале.  
Поэтому три буквы ХТЗ  
Здесь мужики смешно расшифровали.  
Крутили жарко ручкой заводной  
Ударники труда и землелюбы,  
И за барабанкой в шири полевой  
В улыбке белизной сверкали зубы...  
О ветры молодых колхозных лет,  
Когда вся жизнь артельная в новинку!  
Крутил на патефоне наш сосед  
О трех танкистах бодрую пластинку.



И пели все, и Мишка подпевал.  
Никто не знал, что скоро утром чистым  
Война ударит в сердце наповал,  
И Мишка будет сам уже танкистом.  
Но это после, после, а пока  
Счастливо красовались молодицы,  
И ветры обдували не шелка —  
Дешевые и простенькие ситцы.  
Работали, покуда сила есть,  
С гармошками ходили побригадно  
И за труды стахановскую честь  
Считали наивысшою наградой.  
Ну а в канторе, где тесным-тесно,  
От папирос и самосада мглисто,  
Тогда крутили «на ура» кино  
С названием веселым «Трактористы».  
Свои сужденья и горячий пыл  
Высказывали вслух и даже слишком.  
Когда артист Андреев выходил,  
Кричали хором: «Глянь-ко, это Мишка!»  
А Мишка, сидя где-то на полу,  
Нетерпеливых посыпал подальше.  
Но сходство принимал за похвалу,  
И сам смеялся, и солидно кашлял...  
Но вот война... И мужики ушли.  
Деревня сразу сникла и погасла.  
И траурными рамками земли  
Тянулись за околицами пряслы...  
Но все ж колесник, этот черный черт,  
Да лошади, да бабы в той упряжке  
Через войну, сведя со смертью счет,  
К нам дотянули пласт, чрезмерно тяжкий.  
И вот он льется в наших лемехах  
В сто раз мощней в сверкании весеннем.  
С какой любовью надо нам пахать,



С какой великой думой надо сеять!..  
Я на Быстрова скашиваю взгляд:  
В росинках жарких золотятся брови,  
И золотится врезанный в закат  
И весь мужицкий грубоватый профиль.  
В нем жесткость линий, подбородка жесть  
Исполнены рабочего величья.  
Да, в облике Быстрова что-то есть  
От Мишкина крестьянского обличья.  
Лишь Мишкиной доверчивости нет  
И сельской простоватости не видно,  
Что у того по молодости лет  
Сквозила простодушно и наивно.

#### IV

На косогоре, полосатом  
От тропок, гусениц, колес,  
Белеет главная усадьба,  
Что сахар, кинутый вразброс.  
И Николай Быстров гордится,  
Красно кладет свои слова:  
— Вон глянь — совхозная столица,  
Как будто малая Москва.  
И я, — смеется он, — выходит,  
Столичный житель — не простой.  
Да в самом деле, жить охота  
Любому наравне с Москвой...  
Он басовитый рокот стелет  
В своем поселке молодом.  
А вот уже и пятистенок —  
Быстровский, в свежих стружках, дом.  
Его сюда с родного места,  
С далеких пашен перевез,



Не пожалев ни память детства,  
Ни материнских тайных слез.  
В ряду других домов отменно  
Стоит, но как бы над землей,  
Но как бы вытянут антенной  
В закат тревожно-огневой.  
Сверкает модная веранда,  
И высока и широка.  
Он трактор ставит с нею рядом  
И гладит трактору бока.  
— Вот конь — ни есть, ни пить не просит,  
Его куда угодно ставь.  
В ответ звенит тонкоголосо  
В жаре измученная сталь.  
Заходим в дом. Светло, просторно.  
Москва с футбольом включена.  
И собирает мать застолье,  
И обряжается жена.  
Быстров с водой терзает кранник  
И, утираясь, льнет к жене:  
— Скажи, сегодня с кем играем?  
— Отстань, до этого ли мне!  
Тут в разговор и мать встревает:  
— Отстань от бабы — чуть жива.  
Иди смотри, Москва играет,  
В игре каждый день Москва.  
Взгляну — так сердце не выносит.  
Работа будто ни при чем:  
Ни пашни там, ни сенокоса,  
А только бегают с мячом.  
— Ну, мать, уважила столицу, —  
Хохочет громко Николай, —  
Нам у Москвы всему учиться,  
Ты это, мати, понимай.  
— Ну и учись, да не навыкни



Рот понапрасну разевать.  
Ни топора в руках, ни книги  
У мужиков-то не видать.  
Вернутся с поля да и сядут,  
Как будто больше дела нет.  
И ребятишки ткутся сзади,  
А бабы варят им обед.  
— Ну, хватит критики, потише!  
— А что, — не уступает мать, —  
Вот жаль, что я Москву-то слышу,  
Да в ней меня-то не слыхать.  
— Ну, ты б сказала! — сын хохочет  
И крутит бережно экран.  
Вздыхает он: — Сегодня, впрочем,  
Неинтересная игра.  
Давай-ка двигайся к закуске,  
Чего не так, уж извиняй...  
И простотою безыскусной  
Пахнуло в доме на меня.  
Сажусь, смотрю, да что за диво:  
На снимке (снимок застеклен)  
Быстров — в колонии пингвинов!  
Да он ли это? Вправду — он.  
— Э, брат, такая эпопея! —  
Он отвечает на вопрос.  
— Ну расскажи!  
— Постой, успею,  
Ты лучше глянь, что я принес.  
Он ставит весело графинчик.  
— Совхозный сок, — мне говорит.  
В графинчик сок такой завинчен,  
Что стопка полымя горит.  
Но любопытство к снимку видя,  
Быстров бросает как бы вскользь:  
— Его привез из Антарктиды.



На память с полюса привез.  
— Да как же так? — почти немею.  
Вино забыто и еда.  
— Ты что, про нашу эпопею  
Ужель не слышал никогда?  
— Да про какую? — память мучу. —  
Нет, не слыхал я о тебе.  
— А был такой хороший случай, —  
Быстров вздохнул, — в моей судьбе.

V

Сгораю я от любопытства.  
Сажусь удобней, сняв пиджак,  
Прошу Быстрова, чтоб не быстро,  
И он кивает: «Было так.  
Служил в местах, где снег да льдины.  
Как тракторист я был в ходу.  
И для разведки Антарктиды  
Взят в пятьдесят шестом году.  
Ну, от восторга — что в тумане.  
Я с палубы, из тягача,  
В Индийском, помню, океане  
И кепку бросил сгоряча.  
А судно «Обь» — у, брат, громада!  
Ее и шторм качнет не вдруг.  
Ведь пересечь всю землю надо —  
Не шутка — с севера на юг.  
И было мне тогда занято:  
На юг идет уж много дней,  
А что-то зябко в куртке ватной.  
И с каждым днем все холодней.  
И надо мною Ваня Хмара  
Смеялся (это лучший друг),



Мол, потерпи — позагораем:  
Ведь скоро — самый южный юг!  
Ну, а навстречу льды такие,  
Что если сильная волна  
На них какой кораблик кинет,  
(Не «Обь», конечно,) то — хана.  
И вот на горизонте видим:  
Из черноты бескрайних вод  
Под самым солнцем Антарктида  
Хребтами белыми встает!..  
Ты сам крутил когда-то глобус,  
Как далека она, видал.  
Так я туда, ну, не на полюс,  
Но близко к полюсу попал.  
И я любил, — Быстров смеется,—  
За партой глобус покрутить,  
Не знал, что в жизни доведется  
Тот шарик-глобус переплыть.  
Но переплыли! Нам пингвины  
Уже кричат издалека,  
Идут в рубахах, белых, длинных,  
И мешковатых пиджаках.  
Что мужики, слегка поддавши,  
Садятся цепками на лед.  
Кивают нам, крылами машут,  
Как добрый маленький народ.  
И говорит мне Ваня Хмара,  
Веселый — загулять не прочь:  
— Я получил радиограмму:  
Жена вчера родила дочь!  
Вот ей в подарок бы — пингвина,  
Эх, тут бы погордилась мной...  
Стоит, сияет — сразу видно:  
Доволен жизнью и женой.  
Я руку жму ему от сердца,



Хороший хлопец, верный друг.  
Но в честь жены вином погреться  
Ему, конечно, недосуг.  
Уже машины под разгрузкой,  
И оба к трапу мы спешим.  
И на припай опасно-узкий  
Выходим наперед машин.  
Припай — под снегом льды сплошные.  
Лежат они уже века.  
И надо нам вести машины  
По льду на взъём материка.  
Ну, тягачи, они надежны.  
Но лед каков — никто не знал.  
Видал у нас я бездорожья,  
Но вот такого не видал.  
Облет свершили вертолеты.  
— Все снег да лед, — нам говорят.  
Пешком прошли — спрессован плотно,  
Сверкает снег ну что накат.  
И говорит начальник Хмаре:  
— А ну, Иван, давай вперед.  
Махнул рукой веселый парень  
И двинул с места вездеход.  
А я за ним — с огромным грузом.  
Ползу, смотрю, и — боже мой!  
У Вани трактор юзом, юзом  
Пошел низиной снеговой  
И вдруг пропал! Как был и не был!  
Мне показалось: я ослеп.  
Ползу... Еще немного мне бы —  
И я бы грохнулся вослед.  
Но тут — как будто мысль какая!  
Похолодел, и закричал,  
И, ничего не понимая,  
Мертво вцепился за рычаг.



Сбежались люди. Перед нами  
Чернела трещина без дна.  
Она, проклятая, снегами  
Была совсем заметена...  
Слезу не ветры высекали,  
Сам понимаешь — нету слов...»  
И над столом, как над снегами,  
Затих, наступился Быстров.  
И я молчу. Все понимаю.  
И разговор у нас померк.  
— Давай-ка мы помянем Ваню,  
Был настоящий человек...  
И кажется на самом деле,  
Что на виду у деревень  
Плынет сейчас не вечер белый,  
А тот полярный горький день.  
— Но ехать надо, — начал Коля, —  
И первым я уже пошел,  
И хоть взбирался я на взгорье,  
А мне мерещилось — в котел.  
Под снегом лед скрипит, скрежещет,  
Нигде следа, кругом бело.  
Вставал и я над бездной трещин,  
Но счастье, видишь, помогло.  
Мой «Воронко» — так звал я трактор —  
По льду прошел под птичий крик,  
И заискрил в камнях горбатых,  
И первым встал на материк.  
Я из него, шатаясь, вышел.  
Сверкают скалы, В скалах лед.  
И надо мной планеты крыша —  
Предгорья Королевы мод.  
Я сдернул шапку. Стужа — в щеки.  
Лицо горит. А надо мной  
Земли вершина — о, высоко,



Как будто купол ледяной!  
Дух захватило — выше нету,  
И дальше нет уже земли.  
А только небо льдистым светом,  
Как будто инеем, палит...  
И здесь, снега поглубже вырыв,  
Мы на базальтовый пятак  
Поселок ставим первый — Мирный  
И поднимаем красный флаг.  
И говорит профессор Гусев,  
Что надо нам, светло пока,  
По неизведанному курсу  
Рвануться в глубь материка.  
Ну, я готов. Давай проверим,  
Что там, у самых облаков!  
И снова в путь выходит первым  
Мой добрый, верный «Воронко».  
Второй тягач, по цвету красный, —  
Его я «Карьком» называл —  
Тянул палатку и припасы  
И от меня не отставал.  
Здесь не ходил никто вовеки  
(Шел Амундсен другим путем),  
На гребнях свет от бури меркнет,  
Как будто в небе мы самом.  
Тогда в палатку вся команда.  
Трясет от стужи —  
Где уж спать!  
Потом откапываться надо,  
Ну, откопаемся опять  
И над землей для смеха гаркнем  
На жутком гребне снеговом:  
— Эй, «Воронко»! Эй, где ты, «Карько»? —  
И их откапывать пойдем.  
— Да, было дело, — он вздыхает.



И тут мы слышим:  
— Эй, Быстров!  
В окне мужик.  
— Чего, механик?  
— Открой окно на пару слов.  
Вода в реке идет на убыль,  
И самоходки на мели,  
Ну те, которые нам уголь  
Да удобренья привезли.  
И Николай идет проворно.  
Жена навстречу: «Ты куда?»  
— Да самоходки надо сдернуть,  
В Двинице падает вода...  
— Вот так всегда, покоя нету. —  
Хозяйка жалуется мне. —  
Всю жизнь в заботе да в ответе,  
Не дома, все — на стороне...

## VI

А в Двинице смуглолицей  
Молода всегда вода.  
То начнет кружиться, виться,  
Не поймет сама — куда.  
То споткнется, разойдется,  
Сломит берег, наконец,  
Засмеется в бликах солнца  
В деревеньках у крылец.  
То такой тоской окрутит,  
Что задержит спешный путь.  
Камешки, как девка груди,  
Хитро выставит чуть-чуть...  
Самоходки дышут жарко,  
Мрут, как щуки на мели.



Ватерлинии, что жабры,  
Красной пеной затекли.  
Но уже несется эхом,  
Заглушив моторный рев,  
Крик людей: «Быстров приехал!»  
И-эх, — вода звенит —

Бы-стро-ов —  
Трактор грузно разворачивается,  
Выскребает талый лед  
И к воде, открытой начисто.  
Страшно с берега ползет.  
Чертов берег тут обрывист.  
Но — вниз, вниз...  
Ой, не кувыркнись.  
Не кувыркнись,  
Встал по-истуканы  
Трактор и рычит.  
С берега стегают  
По нему ручьи.  
Быстров — в раж,  
Быстров — в злость:  
— Эй, вы, с барж,  
Тяните трос!  
С берега того  
Через весь плес  
Чёрнью винтовой  
Повисает трос.  
И трактор упрямо  
Ползет вверх,  
Сдирая травы,  
Как лисий мех.  
И трос пружинит.  
Витой, стальной,  
Всего — лишь жилкой,  
Всего — струной.



Народ в испуге:  
— Эй, берегись!..  
По всей окруже  
Пронесся свист.  
Лопнул!.. Вот он,  
Трос витой,  
На куст намотан,  
Висит змеей.  
Шкипер хитрый —  
В круги, в круги!  
— Ставлю литру,  
Лишь помоги!  
Быстров сбивает взглядом:  
— Поставь-ка лучше ты  
Два новых троса кряду,  
Чтоб меньше маяты.  
Два троса натянули  
И отскочили враз.  
Опять в натужном гуле  
Земля зашлась.  
И медленно-медле...  
Но все ж баржа идет!  
И шкипер напоследок  
Быстрову руку жмет.  
— У нас помельче плавай, —  
Смеется Николай, —  
С рекой держись, что с бабой,  
Из рук не выпускай...  
И мы — в туманы бродом,  
Дома на высоте,  
Как будто соты с медом,  
Желтеют в темноте.  
И тянет нас и манит  
Усадьба все сильней  
Из луговин туманных



И сумрачных полей.  
И мы спешим, уходим  
От одиноких дум,  
Меняя их охотно  
На многолюдный шум.  
Поди узнай — что надо...  
Но все ясней она,  
Центральная усадьба,  
В тиши полей видна.  
Огней высокий ливень  
Среди немых низин.  
И в центре клуб зазывен,  
Зaborист магазин.  
И телефонный провод  
Поверх бетонных плит,  
Как будто рыжий овод,  
Над головой летит.  
И у домов под боком  
В мерцаньи топольков  
Тепло больничных окон —  
Спасательных кругов.  
И школа возле самой  
Широкой из дорог.  
Утрами над усадьбой,  
Как солнышко, — звонок.  
И мир теплей и шире,  
Хотя не тиши да гладь,  
Но тянет в этом мире  
Пожить да побывать.  
Где дорого, знакомо,  
Понятно все без слов...  
— Ну вот, мы снова дома, —  
Толкает в бок Быстров.  
Ах, красным садом вызрел  
От занавесок дом!



И синий телевизор  
Плынет туманом в нем  
Мальчишки здесь — ни с места,  
Сидят, лицом горя:  
«Клуб кинопутешествий»  
Уводит за моря.  
Сейчас их дома нету.  
Хотя сидят и тут,  
А мальчики по свету  
По белому идут.  
И бабушка мальчишек  
Давно уж гонит спать.  
Они ее не слышат,  
И крик и брань опять.  
Она в изнеможеньи  
Твердит: «У нас не дом,  
А светопреставленье,  
И я рехнусь умом...»  
Потом старушка замолкает  
И ставит в кухне самовар.  
Березовыми угольками  
Она бодрит румяный жар.  
И чай мы пьем большим семейством,  
И диктор (вот он, наравне)  
Читает новые известья:  
Что — за границей, что — в стране.  
— Садись-ко к чаю, — шутит бабка, —  
Да чаю-то, поди, не хошь,  
А то б ленула крепко-сладко,  
Уж больно ты мужик пригож.  
Хохочем все — ну, уморила!  
— А что? — она ведет игру, —  
Какая ягода-малина  
Ему сидеть у нас в углу.  
Смотри, работушка какая!



Скажи-ко лучше, говорун, —  
Старуха диктору мигает, —  
Как там китайский-то мамзун?  
— Да ведь зовут Мао Цзе-дуном, —  
Быстров от смеха стер слезу.  
— Ну пусть, а коль войну задумал,  
Так он и есть дурной мамзун! —  
И мать, в лице меняясь, встала.  
— Вот что скажу, сыночек мой:  
Война-то всем, ох, горько встала,  
Я с красных лет сама вдовой.  
— Ну успокойся, мать, все время  
Не надо говорить о ней.  
Ведь утро вечера мудрее,  
А мы сейчас войны сильней!  
— Добро бы так, — старуха шепчет, —  
Не приведи господь войны...  
Тепло, уютно гаснет вечер  
Семьи и всей большой страны,  
Мы, закурив, стоим у дома  
В одних рубашках — благодать!  
Я о походе том, ледовом,  
Прошу Быстрова досказать.  
— Так вот, на купол Антарктиды  
Тогда мы все же взбрались.  
Вверху — там звезды лишь открыты,  
Внизу — и страшно глянуть вниз.  
Ночь — глаз коли — уже чернела.  
Ну, зарывайся глубже в снег.  
Хватало холода и дела,  
Да наш привычен человек.  
Спустились вниз через полгода —  
Во ночка темная была,  
Во возвратились из похода,  
Во, брат, какие купола! —



Быстров смеется, сам доволен. —  
Я был бы там и посейчас,  
Да потянуло что-то к полю.  
Ведь хорошо в полях у нас!  
Профessor Гусев письма пишет,  
Благодарит, опять зовет.  
У нас, мол, заработка выше,  
Дадим новейший вездеход.  
Я отписал, что не готовлюсь.  
Что дом, жена, ребята, мать,  
Что не Магнитный — Хлебный полюс  
Теперь мне надо открывать.  
У нас должны быть горы хлеба:  
Земли-то сколько и какой!  
Должны не только жить безбедно,  
А жить с прибавкой золотой...  
Он мнет губами сигаретку,  
Как земляничный корешок.  
Стоит, такой высокий, крепкий.  
И с ним спокойно, хорошо.  
Но тут жена, окошком звякнув,  
Мелькает в белом полотне.  
— Эй, Коля, спать! — и голос мягкий  
Плынет зазывно в тишине.  
— Иду, иду! — летит ответно.  
И в самом деле надо спать.  
Быстров мне кажется на повети  
Уже готовую кровать.  
Я засыпаю, утомленный,  
И не пойму, где явь, где сон:  
Свистят в дому радиоволны,  
Как прутья, с четырех сторон.  
Но пятистенок рублен стойко,  
Его не раскачаешь вдруг.  
Пусть ветер — с запада к востоку,



Пусть ветер — с севера на юг.  
И на меня как будто окна,  
Да, окна движутся во тьме.  
Смотрю: из поля одиноко  
Тот, мой старик, идет ко мне.  
Но он же мертв! А тут — на пашне!  
Его качает на ветру,  
И он зовет, руками машет,  
Кричит, но что — не разберу,  
Потом куда-то исчезает.  
И дом — как будто бы не дом,  
А степь чернеет грозовая,  
И тучи красные кругом!  
И вдруг меня срезает вспышка —  
Валюсь. Лежит в крови мужик.  
Да тракторист ведь это — Мишка.  
— Эй, Михаил! — но глухнет крик.  
И стужей бьет меня, и жаром,  
Толкаю в бок: «Вставай, не спи!»  
Смотрю: не Мишка — Ваня Хмара  
Приподнимается в степи.  
Да и не степь уже, а льдины,  
И Ваня Хмара — на одной.  
Стоит в руках с большим пингвином  
И просит: «На, отправь домой».  
А я зову его с собою,  
Он рвется, но крошится лед.  
Качает Хмара головою,  
С пингвином в океан плывет.  
А льдины то остро, то тупо  
Встают над волнами внахлест.  
И вот уже ледовый купол  
Слепит в ночи ожогом звезд.  
Глаза руками прикрываю,  
Но вижу, как туда, наверх,



Ползет, вися над черным краем,  
По-альпинистски человек.  
Я по спине да по ухватке —  
Быстров же это! — узнаю.  
Врубаясь в лед смертельно-гладкий,  
Встает у мира на краю,  
Кричит: «Иди, открыл я полюс!»  
И ставит он над всей землей,  
Что красный флаг, огромный колос,  
Огромный колос золотой.

1973 год





# ОЧЕВИДЕЦ

Ко мне пришло известье:  
Нашелся наконец  
Тот человек, с кем вместе  
Был в смертный час отец.  
Больным, тревожным жаром  
Зашлась душа опять,  
Отчаявшись недаром  
Хоть что-нибудь узнать.  
Ведь так горьки да горьки,  
Ледяно-ледяны  
Слова из похоронки,  
Что в них — лишь мрак войны...  
Скорее в путь!  
И адрес  
Твержу я наизусть.  
Лесами пробираюсь,  
Проселками трясусь.  
Ну, годы, раскачнитесь,  
Раздвиньтесь же теперь!  
Былого очевидец  
Мне открывает дверь.  
Заныла в сердце жалость.  
Я жму в тиши крыльца  
Те руки, что касались  
В последний раз отца.  
Смотрю в глаза солдата,  
Теперь уж старика.  
В них каменно зажата  
Ожившая тоска.  
И говорит он слабо



(Мешает хрипотца):

— Не зная, вас узнал бы —  
Похожи на отца.  
Он, правда, моложавей... —  
Прищурился старик,  
И брови задрожали,  
И я душою сник.  
Да, это не отнимет  
И время у солдат —  
Посмертно молодыми  
Вставать с живыми в ряд.  
Но это право горько...  
Ведет хозяин в дом,  
И за глухой заборкой  
Садимся мы вдвоем.  
Жду правды с нетерпеньем  
И загодя креплюсь.  
Весь становлюсь я зреньем,  
Весь слухом становлюсь.  
Но вижу, как непросто  
Хозяину начать —  
Вернуться к страшным верстам  
В тех днях и в тех ночах.  
Как знак, что полной мерой  
Хлебнул он тех невзгод,  
К виску, колышась нервно,  
С надбровья шрам ползет.  
И двигается резко  
Над воротом кадык,  
Как будто там железка  
К дыханию впритык.  
Сидит солдат обмякши,  
Склоняясь на край стола.  
— С отцом-то в Кандалакше  
Меня судьба свела.  
Там тьма была народа



Для фронтовых команд.  
К нам командиром взвода  
Он прибыл, лейтенант.  
Он заглянул всем в лица,  
Точь-в-точь, как вы сейчас,  
И приказал грузиться,  
И брать боезапас.  
И покатился поезд,  
И лейтенант в пути  
Расспрашивал, знакомясь,  
И стал как брат почти.  
Да ведь и был годами,  
Повадкою своей,  
Пожалуй, ровня с нами,  
Лишь хмурился строже.  
И все в дверном притворе  
Не покидал поста.  
Вот замелькали вскоре  
Они — его места.  
Молчал. От ветра будто  
Он вытирал глаза.  
Ему бы на минутку  
Туда — да вот нельзя.  
Нельзя просочить было,  
Поверишь ли, минут.  
Навстречу небо плыло  
В пожарах там и тут.  
Мы в бой рванулись с ходу...  
Постой, вздохну чуток, —  
И пьет хозяин воду.  
Один, другой глоток.  
Видать, горел он гормя  
От горя и обид,  
Что вспомнит лишь — и в горле  
Вновь сушит и палит.  
Чрез столько лет!.. Всё знойно,



Лишил двиныся к рубежу.  
Глядит на мертвых воин,  
Я на него гляжу. Его слова сверяю  
Я с памятью своей —  
По самому там краю  
Лишил блики давних дней.  
Их шевелю — и светом  
Меня пронзает вмиг.  
Да, да, все правда это,  
Что говорит старик.  
Я помню, то есть вижу,  
Как мать письмо отца  
С цензурной меткой снизу  
Читает у крыльца.  
А слезы, слезы — градом  
Меж карандашных строк.  
— На фронт проехал... рядом  
И заглянуть не смог... —  
Вновь сердце накололось  
На стон издалека,  
А рядом чую голос  
Солдата-старика:  
— ... Была такая ярость —  
Сраженные и те  
В захватчиков вцеплялись  
В траншейной тесноте.  
Отец твой, он без крика,  
Но в самый нужный миг  
Взлетел — и грудь открыта,  
И был грозней, чем крик.  
Проверили — отважный,  
Да, он не робкий был...  
Под Тихвином однажды  
Прорвались к немцам в тыл.  
Наш взвод — уж так случилось  
Всю роту прикрывал.



Над нами лес в лучину  
Гад-немец исщепал,  
Но выдохся. В затишье,  
Когда приполз связной,  
Мы к взводному поближе  
Стянулись, кто живой.  
Нам гибель — знали сами.  
И он отдал приказ,  
Чтоб мы домой писали,  
Пока связной у нас.  
И сам прилег за камень,  
А вот писать не мог.  
И жегся под руками  
Листок, что огонек.  
В таком аду — да что там —  
До писем ли бойцам.  
Вдруг слышим — самолеты!  
Глядим: заходят к нам!  
Всего страшнее небо  
Солдату на войне.  
Ползешь — укрыться где бы?  
Но небо — на спине.  
Я только и запомнил,  
Как жахнуло с боков  
Да закачались корни  
Чернее пауков.  
Очнулся — нет, не мертвый,  
Смотрю — а взвод полег...  
Тут подоспела рота,  
И батальон, и полк.  
Погибших хоронили,  
Искали... Ох, земляк!  
Они в песке да в глине  
Схоронены и так...  
И взводный там, в завале.



Его осколком в бок...  
Планшетку только взяли,  
В ней смятый тот листок.  
Я помню и поныне —  
На том листке его  
Лиць «Здравствуйте, родные...».  
И больше ничего.  
Лиць «Здравствуйте» —  
и только... —

И голос хриплый смолк,  
И ледяной иголкой  
Встал сердцу поперек.  
И как-то зыбко, странно  
И медленно возник,  
Похоже — из тумана  
Передо мной старик.  
Нет в правде облегченья,  
Так правда тяжела,  
Проста до помраченья,  
Когда она гола...  
— Так где ж искать могилу,  
Скажи мне, старина?  
— За Тихвином то было,  
За Тихвином должна... —  
И вновь я память вихрю,  
Но в письмах горьких лет,  
Что я храни, про Тихвин  
Нигде помину нет.  
И в похоронке нету.  
И в справках — ни следа.  
— Ну а когда же это  
Случилось-то, когда? —  
Он говорит нетвердо:  
— Кажись, в сорок втором...  
— А нам в сорок четвертом



Сообщено о том... —  
Глядим мы друг на друга,  
Но всяк в себя глядит.  
И нам обоим трудно  
С открытием таким.  
— Ужель во мне затмилось? —  
Старик и сам не рад. —  
Ужель однофамилец  
Был этот лейтенант? —  
И вновь сверяем, сводим  
И видим наконец,  
Что этим славным взводным  
Был все ж не мой отец.  
А мой — опять в близость,  
И тяжелей вдвойне:  
Теперь два лика вместе  
Уже живут во мне.  
Во всем судьбою схожи  
И в подвиге равны,  
Сливаются тревожно  
В единый лик они.  
И мне, как бы слепому,  
В иное не прозреть,  
А жить и вечно помнить,  
Как надо встретить смерть.  
И боль и страх приемля,  
И все, чему уж быть,  
Но пуще жизни землю  
Родимую любить  
И в гибельном прорыве  
Живым послать всего  
Лишь «Здравствуйте, родные!» —  
И больше ничего.

1975 год

# ПАВЛА

## 1. СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

— Ну садись-ко, Павла, к чаю!  
— Да что вы, посижу и тут.  
Вот знаю, как вас величают,  
А не припомню, как зовут... —  
И смотрит на меня с прищуркой.  
А тетка шепчет ей опять:  
— Да Александром. Раньше Шуркой,  
Он все в ученье — негде знать. —  
Гляжу, она к столу садится.  
— Ой, Шура, память — что дыра.  
Уж не тебя ли это вицей  
По кой-то год в гумне драла?.. —  
И мне забавно вспомнить это.  
Я Павле говорю:  
— Меня...  
Мы там покуривали летом,  
Боялись тяткина ремня... —  
И вот уже смеемся вместе  
Над тем, что было так давно.  
Ее пора и наше детство  
В одно застолье сведено.  
— Гляди-ко, стал какой разумный! —  
Качает Павла головой. —  
А я тогда была резвуньей,  
Какой была я молодой! —  
И, что-то вспомнив, замолчала.  
— Была и вправду — соловей!

А ныне девки — что чучавки  
С худым снопом на голове.  
Навыют кудрей, как мотовилом,  
Как косоватым батожком.  
А платья — господи помилуй!  
И ходят все шажком, шажком! —  
Встревает тетка:  
— Ну так, Павла,  
Другая ныне и еда.  
Мы из муки ржаной, бывало,  
Заварим кашу иногда.  
Горшок — не охватить руками —  
Сперва ошпарим кипятком  
Да из загнетки красный камень  
В него закатим кувырком.  
Да со сметаною бруслицы  
Надавим в плошке через край —  
И ешь, да, чтоб не подавиться,  
Ты вразумительно глотай.  
Вот это каша-повалиха!  
Поешь ее, ржаную, всласть —  
Глядишь, и в дрему повалила,  
С нее и силушка бралась.  
Да, все бывало, все бывало... —  
И так мы долго речь ведем.  
И вот уж спать уходит Павла  
В руке с пугливым фонарем.  
И тетка мне готовит ложе  
В углу, в котором лик святой.  
— Хоть ты и служащий, но все же  
Ложись-ко к богу головой... —  
Я улыбаюсь безотказно,  
Ложусь и не могу я спать.  
И вспоминается мне фраза:



## 2. СОН

И говорит серьезно Павла,  
Бочком придвигнувшись ко мне:  
— Ведь на гулянку я попала  
Вчера. — Да это где? — Во сне.  
Ну, смейся, смейся, да поверь мне.  
Вот, значит, я вчерашним днем —  
Не видел ты — бегу деревней  
На праздник в платьице одном.  
Бегу лужком в полусапожках  
Я восемнадцати годов.  
Деревня в песнях да гармошках —  
Вся зачерпнулась до краев.  
И выюсь я в плиске в тесном круге —  
Пусть смотрят выходку мою.  
И мне завидуют подруги,  
И парни жмутся на краю.  
А хромка полынем огнистым  
Кипит другим наперебой.  
Решаю я о гармонисте:  
Не знаю — чей, а будет мой.  
И точно — будто бы устала,  
Беру я под руку его.  
И бродим тихими местами,  
Уже не видя никого.  
Он за плечом несет гармошку,  
А я смеюсь, травинки рву.  
Нарочно я роняю брошку  
В сторонку, в теплую траву.  
Ее мы ищем, где упала,  
А травы ходу не дают... —  
И замолчала грустно Павла.  
— Чего молчишь?

— Проснулась тут.  
Чего бы сон, а вот тоскую.  
Голубчик, больно я стара.  
Хоть на себя не на такую  
Полюбовалась я вчера... —  
Встает, с досадою вздыхая,  
И на меня глядит опять:  
— Ведь где-нибудь да молодая  
Должна же я существовать.  
Ужель была да и пропала?  
Вот ты ответь,  
Я обожду...  
Эх ты, ученый, — дразнит Павла, —  
А сон-то, думаю, к дождю... —  
И вправду — вскоре из-за леса,  
Как будто сами елки вплавь,  
Ползет гроза тяжеловесно  
В томленье душного тепла.  
Слепит, гремит и барабанит,  
Звенят дома, вскипает пруд.  
В зеленых гравах табунами  
Березы во поле бегут.  
Смотрю я радостно в окошко —  
Деревня в грохоте ручьев,  
Как будто в песнях да гармошках,  
Вся зачерпнулась до краев.  
И вижу там, где тучи тают,  
Где солнце брызжет над травой,  
Гуляет Павла молодая  
В наряде с брошкой огневой.  
И с гармонистом под навесом  
Стоит, травинки теребя,  
За этим полем, этим лесом,  
За шумным праздником дождя.

### 3. ВОПРОС

— А пошто, — спросила Павла, —  
У годов не ровен свет?  
Все запомнила до мала  
Из своих начальных лет.  
Из девичьих — тоже много,  
А замужних — так до дня.  
А из вдовьих... ради бога,  
И не спрашивай меня. —  
Так сказала, что я замер.  
Руки сдвинула, скрепя,  
И морозными глазами  
Посмотрела в глубь себя.  
И вздохнула как-то скорбно,  
Будто и не наяву:  
— А пошто теперь-то годы  
Я не помню, а живу?  
Ну, пошто? — переспросила,  
Посмотрела мне в глаза...  
Я сдержал себя насили  
И смолчал.  
А что сказать?

### 4. ДУМЫ

— О чем ты думаешь ночами?  
— А я ночами, Павла, сплю.  
— А я так нет. Спала сначала,  
Теперь лишь каплю подремлю.  
Сна нету бабам-одиночкам, —  
Вздыхает и мрачнеет вдруг. —  
Жизнь пролетела, как по кочкам,  
Подумать было недосуг...

— А в девках бегала к гадалке  
В потемках в страшную избу,  
За полушалок без утайки  
Сказать просила про судьбу.  
Гадалка повела рукой  
И начала, все помню я:  
«А море, Павла, глубоко,  
Вода на море темная.  
Вода помутится, потом  
Раскучается солнышко,  
И станет видно в море том  
В песочке желтом донышко...»  
Вот так... А жизнь-то за плечами  
Туманами обволокло,  
И все мне слышится ночами:  
«А море, Павла, глубоко...»  
И впрямь: лежу вот на песочке —  
На печке, донышке своем, —  
Как бы не дома, не у дочки —  
На самом том на дне морском.  
И надо мною волны, волны...  
Но приглядусь — и на виду, —  
Ведь это я в лугах зеленых  
Прокосы шумные веду.  
И мужа вижу. Мой — на зависть  
Всем здешним славницам. Пригож.  
«Эк, — он смеется, — размахалась  
И мне проходу не даешь».  
Но тут все мутится. Лишь горько,  
Как будто с карточки, мелькнет  
Он в полинялой гимнастерке  
И канет с глаз в водоворот...  
И станет больно мне и страшно,  
Хоть дочь буди... Черно кругом.  
Да это ж борозды на пашне,

И я с конем, и я с конем.  
Но тут опять, что гору взгорбит,  
Накатит новою волной...  
Нет, слышь, не волны это — скорби  
Плынут ночами надо мной...

## 5. БОЛОТО

— Не ходи, Олёксан, на болото,  
Не ходи, дорогуша, один.  
Неужели погинуть охота  
Посреди проклятущих лядин?  
Там, голубчик, обманно и глухо:  
Поглядишь — вроде кочка, а нет —  
Голова волосатой старухи  
Затрясётся и спутает след.  
Ты — к другой, ну, а кочка другая  
Волосатей еще, пострашней.  
Под ногами она заморгает  
И задохнется от пузырей.  
И назад ни за что не отпустит.  
Стон пойдет по болоту такой,  
Что тебя не поддержит ни кустик,  
Ни валежина под рукой.  
И окажешься ты у хозяйки  
Места гиблого, а она  
На коряге сидит раскорякой,  
В тине вся, зеленым-зелена.  
И волосья когтищами чешет,  
«У» да «у» — головою трясет.  
А увидит тебя — так и в клещи,  
А когтищи-то синие — лед!..  
Ну, не хвастай, что ты не пугливыЙ,  
Нынче все вы, безверные, так:

Вам и диво как будто не диво,  
Вам и слово как будто пустяк,  
Нет, кормилец, а я не ругаю.  
А пошто? Раз надумал — ступай.  
Только, слышь, направляйся-то гарью,  
Там поягодней высыплет край... —  
Мне всегда говорить с ней забавно:  
Явь и сказки едино храня,  
Вот опять приповадилась Павла  
И пытливо глядит на меня.  
Чтобы нравилось ей, по старинке  
Пред уходом сажусь на порог.  
В золотистой и легкой корзинке  
Пахнет родиной теплый пирог.  
Выхожу я из дома, как будто  
Захожу в молодые годы.  
И шепчу про себя: «Здравствуй, утро!  
Здравствуй, лес! Я вернулся сюда!»  
А в крови растекается радость  
Холодком и бодрит меня так,  
Что от прежнего только остались  
Разве кепка на мне да пиджак.  
Вот и сосны по краю болота.  
Кепка валится — так высоки,  
Прошибают заоблачье с лёта,  
Будто огненные языки.  
И тропа истлевает. А дале  
Только мхи да разводья вокруг.  
Я ступаю несмелю вначале  
И качаюсь тревожно: а вдруг...  
И робею, как древний язычник,  
Среди этих просторов глухих.  
Но — смотри — напыливает черничник,  
Словно синяя туча, на мхи.  
Всюду ягоды в листьях-ресницах.

Как зрачки, и черны и влажны.  
В них как будто бы полночь таится,  
И хмелит от такой ворожбы.  
Манят, манят, чаруют, чаруют —  
И в тумане, как чару вина,  
Я корзинку несу золотую.  
А она синевою полна.  
Где же выход из этого плены?  
Я пугаюсь, и клонится день,  
Уходя за леса постепенно  
С шапкой солнца уже набекрень.  
А куда ни шагну — всюду плавно  
След уйдет из-под ног в забытье.  
Тут как раз и припомнится Павла  
И ужасная сказка ее.  
Все, что дома напела старуха,  
Оживает навязчиво тут.  
Где безветренно, затхло и глухо,  
Там и страхи извечно живут.  
Начинаю кричать. Только голос  
В этой зыбкой, коричневой мгле  
Лишь взлетит и растает, как волос, —  
И один я на целой земле.  
Сроду чувства такого не ведал,  
Не готова к такому душа.  
И страшит, что иду я бесследно,  
Словно тень, на земле мельтеша.  
А над ней небеса голубые,  
Будто вечность, текут облака.  
И душа замирает впервые  
Оттого, что слаба и мелка.  
Оттого, что я в жизни короткой  
Так подолгу бездумно живу...  
Ах, скорей бы хоть чай-нибудь отклик,  
Хоть бы встретить кого наяву!

И — вот жизнь! — в тишине  
полудикой,  
Заставляя рвануться вперед,  
Чей-то голос летит паутинкой,  
Вьется в соснах, кого-то зовет.  
Я — туда, огибая разводья,  
Я спешу и уже изнемог.  
Вижу, вижу — вон женщина бродит,  
Издалека белеет платок.  
Набруснит покрупнее черничин  
И как будто из пригоршней пьет.  
Неизвестно, кого она кличет,  
Может, пробует голос, поет?  
Я ее окликаю устало.  
И она средь зеленых ветвей  
Улыбается: так, мол, и знала —  
Кто-нибудь да откликнется ей.  
— Что, — она говорит, —  
заблудились?  
— Заблудился, — я ей говорю, —  
Проводи, — говорю, — сделай  
милость.  
Чем могу, отблагодарю.  
— Эх, — смеется она хитровато, —  
Бабы спросы, смотри, нелегки.  
Не прожить вам без нашего брата:  
Все плутаете вы, мужики... —  
А глаза, — только вскинет ресницы —  
И уже не уйти от судьбы.  
И опять и гореть, и томиться  
От веселой такой ворожбы.  
Проводница глядит, торжествуя,  
Я иду, будто пьян без вина,  
И корзинку несу золотую,  
А она синевою полна.

## 6. ВНУК

Под громовой грачий вылет  
Выходит Павла, рядом внук.  
И он бежит, шажками сыплет  
И отбивается от рук.  
Шатает Павлу, будто елку.  
Упала, если б не батог,  
Но наклоняется вдогонку  
И к нам — с внучонком на порог.  
А внук — раздеть его сумей-ка —  
Как вихорь крутится у ног.  
Но вот на гвоздь летит шубейка,  
Шапчонка, шарфик, свитерок.  
И выпростала из одежки.  
Ах, внук! Им все озарено!  
— Постой-ко, Павла, у Сережки  
Вон что-то под носом черно.  
— Черно, — она с улыбкой дразнит,  
Смахнув две темных полосы, —  
Лиха беда. Не видишь разве,  
Что у него растут усы... —  
Смеемся мы, топочет внучек.  
Садится Павла у стола:  
— Сережка мне как теплый лучик,  
В него вся радость перешла. —  
Цветем — забыли и работу:  
По полу вдоль и поперек  
Снует шалун — щипнуть охота, —  
Ну колобок, ну снегирек.  
Вновь Павла нам: — Ой, беспокоюсь —  
Любуюсь им, покуда мал.  
А человек — ведь это совесть.  
Добро бы совесть перенял.  
Хорошим будешь? — Павла внуку.

Тот отвечает ей кивком,  
Как будто чувствует науку.  
— Ну, подрастешь, взгляну потом.  
— Потом? — мы все в немом вопросе. —  
Ведь ты... — Да знаю, что умру.  
Да не совсем умру, не вовсе,  
Душой-то буду на миру.  
Душа, она всегда живая.  
— И ловит внука. — Стой, постой!  
Ишь, глазки дремою сшивает,  
Пойдем-ко, солнышко, домой... —  
Встает, откланявшись, как прежде,  
И в ней, отзывчивой всегда,  
Непреходящие надежды  
И неизбытная страда...

## 7. ПОЛОВИКИ

«Кросна в избу волоки,  
Стану ткать половики!»  
С чердака достали кросна  
(Как их зять не нарушил?).  
Затуманились с мороза  
Корневым загибом жил.  
А меж ними лег навой  
Барабанно-круговой.  
Притужальником приперта  
Крепко пришивица, как встарь,  
И висят златые бёरда —  
Ну, возьми, взмахни, ударь!..  
Павла, царственно-серъезна,  
Подвигается за кросна,  
Зять, молчавший до поры,  
К ней — не без оглядки:

«Людям надобны ковры —  
Не такие тряпки». —  
«Всем ковры! Ой, богачи, —  
Павла усмехается, —  
Глянь на них и отскочи:  
Цены-то кусаются...»  
Эх, суровая основа,  
Ослепительный уток,  
Обнимайтесь, пойте снова  
Возле рук и возле ног!..  
По деревне к ней трух-трух,  
В доме тесно от старух.  
«Городские-то обноски, —  
Павла им дает урок, —  
Рвите, девки, на полоски  
И мотайте их в челнок».  
И давай вперегонки  
«Девки» ткать половики.  
А у Павлы, а у Павлы —  
Лучше всех, настолько славны.  
Говорит, что внучкам ткет.  
В отпуск явятся, и вот  
Им из рук — да на руки  
Вытканные радуги.  
Пусть везут по городам,  
Стелют радуги и там!

## 8. СЕКРЕТ

— Живешь ты, Павла, не старея!  
— А я забыла о годах,  
И нет досужего-то времяя.  
Все канителюсь на гряздах. —  
И опирается устало

На заступ, щурясь от тепла.  
— За век-то сколько зорь вставало,  
А ни одной не проспала.  
Встречаю их и провожаю,  
Купаюсь в зорях с малых лет.  
— Ты зоревая... — А, пожалуй, —  
Смеется, — слушай-ко секрет.  
Ленивы дочь-то с зятем нынче,  
Так я к часам исподтишка,  
Чтобы постукивали шибче,  
Два привязала камешка.  
Часы с кукушкой. Ходят ряно.  
Как закукуют вдруг зарю —  
И вскочит дочь: «Ой, вроде рано», —  
«Вставай, не рано», — говорю.  
И зять за ней на кухню выйдет.  
А дел-то, дел — невпроворот.  
Но скоро мой секрет увидят.  
Ведь попадет мне? — Попадет.  
— Да пошутила я. Хотела  
Так попугать. Кукушку жаль.  
А сам-то как? — Да не без дела.  
— Бездельем матерь не печаль... —  
И налегает вновь на заступ,  
Как бы смыкается с землей.  
Метет в глаза кипреем красным,  
Как будто жизнью зоревой.

## 9. СТУДЁНЫЙ

Опять зову я Павлу к чаю.  
С весны не виделись. Она  
Какой-то скрытою печалью  
Впервые так удручена.

— Мороз-то, Павла, ох и студит!  
— Схватил, так еле добрела.  
Да что мороз — студёны люди,  
В них поубавилось тепла.  
— Как так? — А ты людей послушай,  
Ну, хоть приди ко мне домой.  
От слов метелью тянет, стужей:  
То крик, то брань, то... боже мой!  
— Мир не берет, поди-ка, с зятем!  
— И с ним. Но он не хуже всех.  
А вместе уж за стол не сядем:  
Взгляд ледяной. Нейду на грех.  
— Так, может, он не в духе? — Что ты!  
Студёный он. Душа в вине.  
Вчера в снегу прибрел с работы  
И с разговорами — ко мне:  
«Кого винишь, что жизнь такая,  
Что ругань десять раз на дню?»  
А я ему: «Себя ругаю»,  
А я ему: «Себя виню.  
Виню, что я под старость, ну-ко,  
Не припасла себе угла,  
Виню, что вынянчила внуков,  
А все еще не умерла...» —  
И стихла. Холодом подуло  
И от нее, от этих слов.  
И я молчу, сижу сутуло  
И слышу мерзлый треск углов.

## 10. РАЗГОВОР О ПИСАТЕЛЯХ

— Все пишешь, голову ломаешь, —  
Меня жалеет Павла вновь. —  
Тяжеловату выбрал залежь.

Поморщишь лоб, похмуришь бровь.  
— Что ж, поострю покрепче перья.  
— И жми на правду, как и мы.  
Ох, я люблю стихотворенья,  
Хоть поучилась три зимы.  
Вот эти помню. Ну, послушай... —  
И замер я. В тиши сидим.  
И голос, лишь душе послушный,  
Возник из дальних лет и зим.  
Он сбивчив, радостен и ласков,  
Как вздохи жниц, как взмах косцов.  
В обнимку Пушкин и Некрасов,  
Бок о бок Майков и Кольцов.  
И я смотрю, дивлюсь на Павлу:  
В ней все несчастья превозмог  
И не погас горевший смалу  
Высокий пламень чистых строк!  
Остановилась от волненья,  
Платком смахнула жар со щек.  
— А кто сложил стихотворенья?  
— Конечно, Пушкин. Кто еще? —  
Добро бы жить с такою верой,  
Но говорю: — Не только он.  
— Ну, пусть, а Пушкин самый  
первый,  
Он богом нам определен.  
— Вот молодец! А знаешь, Павла,  
Кого из нынешних живых?  
— Ну, я по радио слыхала,  
Где знать, а кто живой из них.  
Иной раз клонишь, клонишь ухо —  
Писатель, слышу, говорит.  
Лишь в ухе звон, а в сердце глухо.  
Не вздрогнет и не загорит.  
Вот, правда, я Белова знаю.

К нам приезжал в какой-то год.  
Тот не по верху, не по краю,  
А посередке жизни прёт.  
И голос Фокиной я помню,  
Начнет рассказывать она —  
Душа опять к родному корню,  
В поля, в луга унесена...  
Эх, мало складываете, мало,  
Мы и не слышим вас почти.  
— Ну, о тебе сложу я, Павла. —  
Она смеется: — Не шути.  
В стихотворенье я не влезу,  
Куда такую городьбу?  
Мне ходу из леса да к лесу  
Да на печь в старую избу.

1968—1981 годы





# ТРИ ЗАРИ

1

Т оль нарочно, то ль случайно,  
Ношу взяв под самый низ,  
Грабли, встретясь, простучали  
И не сразу разошлись.  
Вскинул взгляд Иван и замер:  
Машка встала наподхват,  
Испытующе глазами  
Зацепила смутный взгляд. —  
Помогу, Иван Савельич, —  
Обожгла витьем волос, —  
Стариковская-то немочь  
Обессирила небось... —  
Сердце стронулось, вскипело  
Так, что вымолвить не мог,  
Лиши сглотнул оторопело  
В горле вспыхнувший комок.  
И от глаз, его вобравших,  
В самом деле вдруг ослаб.  
Эх, случись бы это раньше,  
Ну, на двадцать лет хотя б —  
Он нашелся бы, сказал ей!  
А теперь,  
Вот в этот миг,  
Задохнулся пред глазами,  
Словно вверх взлетел мужик.  
Так близки глаза, что жутко,  
Луг и небо — все они.  
Прошептал Иван: — Ма-шут-ка,

Черт, ну что же — подмогни... —  
И взметнули над омётом  
Ношу сена впопыхах.  
Полыхнуло диким медом  
У обоих на губах.  
Сено сыпалось, кололось...  
Только вдруг в возне шальной:  
— Эй, Савельич! — чей-то голос. —  
Где ты? — кликнул за спиной.  
В страхе он от губ отпрянул,  
Как возник из-под копны.  
Бабы шли к омёту прямо,  
Потаённо, не слышны.  
С торопливо скрытой шуткой,  
Чтоб волнение унять,  
Усмехнулся: — Мы с Машуткой  
Зачинаем стог метать.  
— Зачинайте, зачинайте, —  
Бабы бросили намек, —  
Только крепче уминайте,  
А не то — какой же стог.  
— Да и сами мы с глазами, —  
Намекнул и он в ответ, —  
Да и дело это знамо,  
Будет стог, каких и нет... —  
И, смеясь, взлетела Машка  
В пене зелено-сенной.  
У колен ее рубашка  
Провихрилась белизной.  
Что за дьявол в этой бабе!  
Придусть грешная сладка,  
Будто с маху на ухабе  
Покачнуло мужика.  
Все забыл: свою Наталью,  
С коей тянет целый век;



Годы, скрытые за далью;  
На висках, в сенинках, снег;  
Хвори, боли и осколки,  
Сторожившие войну. —  
Все забыл и видел только  
В небе женщину одну.  
— Что руками не шевелишь? —  
Подливали бабы хмель. —  
Что стоишь, Иван Савельич,  
Будто старый журавель? —  
Над копною вскинул вилы,  
С шумом вырвал тяжкий клок  
И, почуяв, нету силы,  
От растерянности взмок.  
Отдышался незаметно,  
Будто сызнова его  
Просквозило мятным светом  
И проветрило всего.  
Стал размеренней во взмахе,  
Обходя омёт кругом,  
Будто в красной он рубахе,  
В красном лете молодом.  
Только что же? Не Наталья,  
Смуглотою ног горя,  
То скрываясь, то взлетая,  
Вьется там, у стожаря.  
А ведь это было, было!  
Или виделось во сне,  
Или в первый раз наплыло  
В этой знойной белизне?  
Два обличия мешались  
То ль на сердце, то ль в глазах.  
Поминутно обнажались  
То ли удаль, то ли страх.  
Как серебряная мелочь,

Листья сыпались меж вил.  
— От травы-то, ой, Савельич,  
Всю меня ты растравил!.. —  
И сама дразнила взглядом,  
Платьем в выплеске лихом.  
И ходила с солнцем рядом  
Сокрушительным грехом.  
Выше все и уже, уже...  
Ну, еще один рывок —  
И зеленым полукружьем  
В синеву врисован стог!  
И над самым тем закрайком,  
Руки вскинув — два крыла,  
Как заоблачная чайка,  
В небе женщина плыла.  
Взмах иль шаг неосторожный —  
И качнется высота,  
Но душа опасной дрожью,  
Как хотелось, налита,  
Вся была как зов, как вызов,  
Попирающий предел,  
И Иван Савельич снизу,  
Замерев, застыв, глядел.  
И опять шутили бабы:  
— Да закрой, Савельич, рот,  
Поддержи ее хотя бы —  
Ведь и вправду уплывет... —  
И взвилось звонкоголосо,  
Дикой удалью пьяня,  
Над людьми и над покосом:  
«Ну, имай, имай меня!»  
Словно время раскололось,  
И сквозь жизнь, по самый край,  
Проносился женский голос:  
«Ну, имай, имай, имай!»



Как призыв и как моленье,  
Как томленье и игра,  
Ослепленье и прозренье  
Сути жизни и добра.  
Вспыхнув силою могучей  
И поймав за жаркий стан,  
С гребня стога, словно с тучи,  
Принял женщину Иван.  
Жадно, будто без рассудка,  
Задержал, качнувшись вбок,  
И в лицо ей: «Ну, Машутка!» —  
Только выдохнуть и смог.  
Встрепетала впрямь, как птица,  
Но не выпала из рук.  
Жаром тела, зноем ситца  
Разность лет спалила вдруг.  
Прошептала: «Бабы рядом,  
Отпусти, потом приду...»  
Стог окинув гордым взглядом,  
Отряхнулась на виду.

## 2

Принесла простокваша на стол,  
Да такой — холодели стаканы,  
Когда булькал из банки настой  
Молодой и веселой сметаны.  
Лук сверкал, буйнoperист и свеж,  
И картошка румяно дымилась.  
Говорила Наталья: «Ну, ешь,  
Ведь устал», — и напротив садилась.  
Всю-то жизнь, почитай, тридцать лет,  
Как рябина, припавшая к дубу,  
Всё с Иваном, всё с мужем — след в след,

Слово в слово и думушка в думу.  
Прежним бабам по нраву сродни,  
Хорошела в душевном порыве  
Тихим светом — в погожие дни,  
Светом трепетным — в дни горевые.  
И не думала вовсе о том,  
Что теперь на уме у любого:  
Залетало ли счаствие в дом,  
Словно птица пера золотого?  
Просто дом свой трудом берегла,  
Как судьбы и порядка начало,  
Просто сердцу хотелось тепла,  
Но его выпадало так мало.  
Две войны: с первой, финской, она  
До победы в большой — без Ивана.  
И, обычаям древним верна,  
В заклинаньях была неустанна.  
Да, склонялась не раз в те года  
Пред иконой, слезами облитой...  
Муж вернулся! Решила тогда,  
Что спасла в самом деле молитвой.  
Муж вернулся — вот счастье! Оно —  
Соловьи по углам — вот какое!  
Только то, что томило давно,  
Вновь ожгло и лишило покоя.  
Нет детей... Хоть прощай, хоть позорь.  
А любила-то как — знают двое.  
Впрямь рябина без ягодных зорь,  
С опалённой, осенней листвою.  
Не позорил, смирился Иван  
И прощать не прощал — горше казни.  
И меж ними тянулся туман  
Молчаливой тоски и боязни...  
Ужин был — не покосный кулеш,  
Мастерица домашнего дела,

Хлопотала, старалась: «Ну, ешь»,  
Угодить по привычке хотела.  
Ел он вяло, потупив глаза,  
А потом закурил, как отаял.  
«Ты, смотри я, — тоскливо сказал, —  
Остарела чего-то, Наталья». —  
«Ну так что же поделать, Иван,  
Ведь не молод и ты», — улыбнулась  
И оправила свой сарафан,  
Не оправила только сутулость.  
Он вздохнул и замял разговор  
И, коснувшись какого-то дела,  
Вышел в сени, спустился на двор.  
Вслед печально она поглядела. ...  
Он дышал теплым хмелем земли,  
Шел, бежал, потаенный и чуткий,  
И средь елок в закате цвели  
Облаков снегириные грудки.  
Торопился: сказала «приду».  
И цветы, как оглянется, сзади  
Представлялись ему, как в бреду,  
Все глазами, чужими глазами.  
А кусты то вскипали огнем,  
То в тени головнями чернели.  
Сердце пело и падало в нем,  
И взлетала тропа, как качели.  
Вот он, тот наконец сеновал,  
Старый, брошенный, полу забытый.  
Он немало всего повидал,  
Сеном лишь для ночевок набитый.  
Здесь условлено. Дух перевел...  
Это ты ли, Иван да Савельич?  
Стрелки, что ли, годов перевел  
Или в молодость сызнова веришь?  
Что с тобой?.. Он курил и не знал,



Сам себе задавая вопросы.  
Но в глазах — сеновал, сеновал,  
А над ним липняки-медоносы.  
Он вошел, ничего не решив,  
И увидел — она улыбалась.  
И земля покачнулась, как взрыв,  
И зеленою бездной распалась...

### 3

Развязал Иван мешок  
И, стряхнув бумажки,  
Ослепительно извлек  
Голубые чашки.  
И Машутка обмерла:  
Не ждала такого —  
Посреди ее стола  
Звона голубого.  
«Ой, Савельич, дорогой!» —  
Села, обнимая.  
Отстранился он рукой,  
Требуя вниманья.  
И в один широкий взмах  
На плечах лукавых  
Запылал платок в цветах,  
В золотых купавах...  
Лили водку, что росу,  
Подымали жарко  
За свиданье и красу  
Тайного подарка.  
Полыхали те цветы,  
Падали и вяли,  
Все заметней налиты  
Сумраком печали.

При зашторенном окне,  
При глухом запоре,  
При попутчике — вине  
И соседе — горе.  
Он терял, что конь гужи,  
Сдержанность рассудка:  
«Что же дальше-то, скажи,  
Ну, ответь, Машутка».  
Обожгла плечом она:  
«Только не сегодня.  
Разведенная жена,  
Я во всем свободна!»  
Закурил, нахмурил бровь  
Пьяно и потешно:  
«Это что ж у нас, любовь?» —  
«Да, любовь, конечно!»  
Взбила волосы волной:  
«А любовь — как праздник».  
Он вздохнул: «Тебе вольно». —  
«Ты не волен разве?  
Что неволит-то тебя?»  
Глянула без горя,  
И жалея, и любя,  
И дразня, и споря.  
Жить решившая легко,  
Обещая встречи,  
Им подаренным платком  
Стягивала плечи.  
И сгорала смутность лжи  
Перед красотою:  
«Ой, Савельич, не тужи,  
Хорошо с тобою!...»  
... Лишь ступил к себе домой —  
Увидал Наталью.  
Взгляд пронзительно прямой.

Скованный печалью.  
Как на боль, на этот взгляд  
Он наткнулся с дрожью.  
Не шагнуть уже назад,  
Не прикрыться ложью.  
Понял он, что поняла,  
Рухнул мир единый!  
И меж ними гладь стола  
Протянулась льдиной.  
Сел на лавку, грузно сник  
В тишине печальной.  
Легче б ругань, легче б крик,  
Чем ее молчанье.  
Но она ждала, крепясь  
На таком пределе,  
Что недвижимо у глаз  
Слезы тяжелели.  
«Не могу я! — грохнул в стол, —  
Не могу, Наталья!  
Я, поди, с ума сошел,  
Ну, скажи, святая!»  
«Что сказать тебе, Иван?  
Машка лучше знает.  
Горше горя, чем обман,  
Знаю, не бывает». —  
«Мне люба она, люба! —  
Выкрики взлетали...  
Набок падала изба  
В сердце у Натальи.

Там румянцем детским брезжит,  
Там глядит из сказок прежних  
Робко первая любовь.  
Робкий взгляд взойдет очами  
Над дорогою любой —  
Мир предстанет изначально,  
Вспыхнет радугой венчальной,  
В песню сложится любовь.  
Стает радуга, а солнце  
Увердится над судьбой.  
Чистым плеском из колодца,  
Детским криком обернется,  
В праздник вырастет любовь.  
Грянут грозы и утраты,  
И к сердцам подступит боль —  
Слезы выслушит утрами,  
Словом скажется отрадным  
И разделит хлеб любовь.  
Зим последних побережье  
Издалёка студит кровь.  
Но таит тепло, как прежде,  
Но глядит с дороги снежной  
Снова сказкою любовь...  
Крепок духом тот, кто любит,  
Встретив жизни круговерть.  
Ведь не зря сказали люди:  
Лишь один соперник лютый  
У любви на свете — смерть.  
Лишь любовь, сердце касаясь,  
Свет возносит красоты,  
Лишь она — тщете на зависть,  
Светит прелестью красавиц  
Сквозь обычные черты.  
И великим жизнетворцем,  
Не давая в грязь упасть,

Сквозь соблазны мира рвется  
Страсть, пронизанная солнцем, —  
Возыщающая страсть!  
Но легко, но так удобно  
Принимать в потоке встреч  
За любовь — ее подобье,  
За цветение — бесплодье,  
За мольбу — пустую речь.  
И ссылаться на эпоху,  
Словеса плести свои,  
Что не время слез и вздохов.  
Словно оборотень, похоть  
Точит лясы: «Нет любви!  
Лишь свобода движет нами,  
Поспевай за быстрым днем!»  
... И Наталья в эту заметь  
С разоренными глазами  
Разоренным шла путем.  
С ночи той, когда узналось,  
Каменела в тишине.  
Не обида и не жалость,  
А тоска в душе свивалась,  
Как береста на огне.  
Гнула спину в огороде  
И не слушала о том,  
Как смеются при народе,  
Как о них плетут-городят  
Под любым теперь окном.  
Не водою, а слезами  
Поливала зелен лук.  
Жизнь, как узел, развязали,  
Где концы — не знали сами...  
В это время — новость вдруг.  
Пронеслась потешным свистом,  
Обожгла насмешкой злой:



«Машка с Федькой-трактористом!..  
Благодать — на поле чистом...  
Старика — ха-ха — долой!»  
И Савельич, лицом серый,  
В сердце чувствуя обвал,  
С глаз уйдя, метался зверем,  
Ждать не мог, ушам не верил.  
Вызнать к Федьке запетлял.

## 5

Федька был мужик приезжий,  
Расчищал заросший лог.  
«Вон, — шутили, — ломит, леший»,  
Видя, как осинник грешный  
Он таранил и волок.  
День сиял, как праздник редкий,  
Но Ивану — что туман.  
Через корни, ямы, ветки  
Проскочил — и прямо к Федьке.  
Тяжело дышал Иван.  
Удивился тот немало,  
Из кабинки наземь слез,  
Руку подал, как бывало,  
Но, руки не взяв, обвалом  
Встал Иван наперерез.  
И рванул ему рубашку.  
Зло взметнул бровей изгиб:  
— Ну, скажи, — ты любишь Машку? —  
Федька сразу — наотмашку.  
От себя его отшиб.  
— На дуэль пришел — ох, дети —  
Где же ружья иль ножи?  
— Ну, ответь же!..

— Что ответить?  
Бают бабы — носит ветер.  
— Отступись! — Ты ей скажи...  
Сник Иван не от ушиба —  
Понял: Машка здесь была.  
Боль глаза запорошила,  
Будто грохнулась вершина,  
Придавила, оплела.  
... Шаг его вязали ветки.  
Жар катили смоляно  
Дров наставленные клетки.  
Это все халтура Федьки  
Здешним бабам за вино.  
«Может быть, и ей, — мелькнуло, —  
За последки тайных встреч».  
Душу местью оплеснуло,  
Встал безумно и сутуло —  
Запалить, сквитаться, сжечь!  
Засвивалася береста  
В золотые пояса,  
И огонь большого роста,  
Будто дьявол рыжехвостый,  
Заскакал и заплясал.  
А мужик вокруг метели  
Заплясал и сам, чумной.  
Бушевала легкость в теле,  
Мухи красные летели,  
Отшибал трескучий зной.  
«С ней осталось рассчитаться, —  
Пронеслось в безумье, — с ней!»  
Побежал, не стал скрываться,  
Не стучал условно пальцем —  
Грохнул громом из дверей.  
Побледневшая с испуга,  
Машка встала: — Что с тобой?



— Изменила слону, сука!  
Что теперь мне скажешь, ну-ка? —  
Взвил кулак над головой.  
— Что тут, что тут раскричался? —  
Все поняв, сверкнула зло. —  
Ты пока что не начальство,  
Эх ты, собственник несчастный,  
Эко, как тебя свело... —  
И с лукавостью тревожной  
Взгляд метнула молодой,  
Для разгадки невозможный:  
Не правдивый и не ложный,  
С болью, лаской, маетой.  
Так отчаянно вскипела  
И сама светилась так  
Шеей смуглой, грудью белой,  
Что отпрянул оробело,  
Отступил Иван на шаг.  
И опять перед глазами  
В белизне берестяной  
Золотыми поясами  
Всплески жара заплясали,  
И отшиб Ивана зной...

## 6

Смех на берег летел на дальний,  
На покосы глухих полян...  
— Ты прости уж меня, Наталья...  
— Что в моем прощенье, Иван... —  
Отрешенно она сидела,  
На виски надвинув платок.  
Да она — взглянул — поседела!  
И сказать ни слова не мог.

Заметался — изба большая, —  
Вновь к жене присел на скамью.  
— Зло тебя, Иван, сокрушает,  
Ты очисти душу свою.  
— Как очистить? Скажи, Наталья,  
Помоги мне, спаси меня!  
Помутился душой, устал я,  
Нет теперь ни ночи, ни дня... —  
И Наталья — ох, с верой древней, —  
Ничего не сказав ему.  
Ночью зябкой по-за деревней  
Шла на хутор в тайную тьму.  
Горевая душа — не злая,  
Шла она, шептала в лесу:  
«На войне от смерти спасла я  
И от злой любови спасу».  
Вот и хутор бабки Прасковьи.  
Та умеет силою слов  
Хверь нагнать и развеять скорби,  
Дать любовь и отнять любовь.  
Только надобно три продукта,  
И Наталья — знала она —  
Положила, рушник раскутав,  
Рыбник, соль, бутылку вина.  
А Прасковья — глаза что пчелы, —  
С полуслова бабу поняв,  
Унесла их в запечек черный  
И овеяла духом трав.  
Зашептала жарко и глухо,  
И таинственные слова,  
Словно рой, взвились над старухой,  
Окружив ее рукава.  
— Вот, — еду возвратила, — сила,  
Должен выпить и должен съесть.  
Ты же делай так (научила).

Я отсюда вам выплю весть. —  
... Замирало сердце Натальи  
(Помоги ей, добрый туман).  
Чтобы люди не увидали  
И вовек не узнал Иван.  
Ночью поздней — дыханье рвется —  
Незаметная, со двора  
Выходила на три колодца,  
Тихо черпала в три ведра.  
По ведру уносила трижды  
(Травка-матушка, их укрой)  
И зарёй — только проблеск выждав,  
К ведрам шла потайной тропой.  
Встав лицом на зарю, к восходу,  
Как у края смертной межи,  
Разливать начинала воду  
(Ковшик-батюшка, не дрожи).  
А заря вставала просторно,  
И Наталья — жива, жива! —  
Будто чуяла, как Прасковья  
Влёт послала свои слова.  
Пламенели леса и травы,  
Пели птицы наперебой.  
Ковш — налево и ковш — направо,  
Третий ковшик — перед собой.  
И лицо ее розовело,  
И дышалось опять легко,  
Словно вымылась чистотелом  
И утерлась белым платком.  
Мир, огромный, зеленый, свежий,  
Трепетал, звенел и журчал.  
Ветер пройденных побережий  
Уносил к началу начал...  
По три зори так выходила,  
Обжигала роса бела...



Что-то будет — сердце студила,  
Что-то будет — в страхе ждала...

7

Рыбник, соль, бутылка вина  
Посреди закуски попутной.  
Ешь, Иван, пей, Иван, до дна  
И винись, коли черт попутал!  
Про себя дивился сперва,  
Как садился за стол к Наталье,  
Этой щедрости, но слова  
Костью рыбною в горле встали.  
А она разливала чай,  
И была тревожно-печальна,  
И как будто бы невзначай,  
Замерев, взглядом взгляд встречала.  
Вечерело. Стих сенокос.  
Эх, давай-ка окно откроем!  
И заря в гущине берез  
Золотым зашумела роем.  
И мягчел, веселел Иван,  
На жену взглянул по-иному,  
Папироску стряхнул в бурьян,  
Подступивший к самому дому.  
И решил, что сказать пора:  
Ты прости, тебя измотал я.  
Ты всю жизнь чиста и добра,  
Я жалею тебя, Наталья.  
— Ведь и я жалею тебя, —  
Вспыхнув вся, изменилась разом, —  
Сколько прожито. Все любя.  
Все с отцовским живу наказом.  
— А во мне, вот видишь, изъян.

— Ну, оправишься. Хватит веку.  
Жизнь дана для того, Иван,  
Чтоб очиститься человеку.  
Он молчал, и с ветвей берез  
По столу, по стеклу бутылки,  
По лицу пролетали вкось,  
Словно рой, огневые блики.  
И Наталья, глядя в окно,  
В даль заречную, замолчала.  
Он такой не видел давно —  
С лет военных, с того начала.  
Столько верности и тепла —  
«Да она же моя, родная!»  
Встала живо, в кухню пошла —  
Взгляд светлел, ее провожая.  
Вдруг несет икону она:  
— Ты не веришь, но сделай милость,  
Взглянь, когда катилась война,  
На нее за тебя молилась... —  
Он нахмурился: да, видал  
Эту кухонную икону.  
Потускневший желтый овал,  
Женский лик, готовый к поклону.  
Жар времен впитала доска,  
Вспухла в трещинах, почернела.  
Только он не умел искать  
Света утра в свете вечернем.  
Он покорно взглянул, затих,  
Взгляд Натальи угрюмо встретив.  
И почувствовал, что меж них  
Вдруг продвинулся кто-то третий.  
Взял опять бутылку Иван,  
В рыбник вилкою ткнул и выпил.  
И, когда опускал стакан,  
Потянулся и соль рассыпал.

И, смахнув, смотрел на жену,  
Как икону вешала в угол.  
И в набухшую тишину  
Два виска колотились тugo.  
Он смотрел и смотрел сейчас  
То застыло, то беспокойно.  
Резко смигивал что-то с глаз,  
Заслонялся перед иконой.  
Потемневший и скорбный лик  
Уплывал, застипался мглою.  
Свет внезапный за ним возник,  
Воссияло лицо другое.  
Как сквозь марево, все живей,  
Сокрушив завесу разлада,  
Вырвалось из-под бровей  
Голубое упрямство взгляда.  
И. отчетливей приступив,  
Полыхнули, как два орешка,  
Смуглых щек молодой налив  
И на свежих губах усмешка.  
И все ближе, и все крупней,  
И могущественней заклятья,  
Стан очерченный, взлет грудей,  
Ветровое кипенье платья.  
Угол дома сгорел, исчез,  
Распахнулся простор со звоном,  
И она — в синеве небес  
На стогу, на холме зеленом!  
Приподнялся Иван: — Она! —  
Побледнела Наталья: — Кто же! —  
И качнулась, потрясена.  
— Да она, да Машутка! Боже! —  
... Закружился у самых глаз  
Потолок в грозовом раскате.  
И Иван Наталью затряс,  
Заревел на краю кровати.

Умолял жену: — Говори. —  
Клял себя, как бросал на колья...  
Поздно было. Отблеск зари  
Смерк у тихого изголовья.

1978 год





# СЫНОВЬЯ

## ПРОВОЖАНИЕ

Какие волосы у сына,  
Закинутые второпях!  
Что мягкий лен, какого ныне  
Уже не встретить в деревнях.  
До плеч — не то чтоб всех длиннее,  
Но в школе всех они светлей.  
Десятиклассниц удивленье  
И маєта учителей.  
Но вот экзамены — а дале —  
Пункт призывной — и в тень травы  
Скатились русые, упали,  
Как всплеск, с веселой головы.  
И вышел из военкомата  
Наш сын, наш мальчик, наш пока,  
Осанка и молодцевата,  
Но шея — боже — как тонка!  
Он подходил, смятенье пряча,  
Походкой якобы мужской,  
А взгляд его, совсем ребячий,  
Толкнулся в сердце нам тоской.  
Мы обнялись. Он с нами, с нами!  
Но снова боль отозвалась,  
Что сыновья растут рывками  
И отдаляются от нас.  
Миг — зоревые горны детства,  
Миг — ученичества скамья.



И не успели в них взглянуться —  
Уже солдаты сыновья.  
Заботы нам томили плечи —  
Не гривы, как у сыновей.  
Нам тяжко было, им-то легче,  
Но легче — менее ль трудней?  
В судьбе у нас войны и жизни  
Переплетенные узлы.  
А что сыны успели вызнать?  
Их ночи тихи, дни теплы.  
А жизнь законы грозно пишет,  
И сыновьям подходит срок,  
Быть может, нашего повыше  
Перешагнуть и свой порог...  
Скорей домой, на проводы,  
Сзытай товарищей, подруг!  
Да как же это, сын родимый,  
У нас опять случилось вдруг?  
... И вот сидим перед дорогой —  
За старшим средний, а рядом  
И младший сын со стрижкой строгой,  
В глазах с прощальным ветерком.  
Сидят друзья и домочадцы.  
Вновь растревожен лад и быт.  
О, сколько нам еще прощаться  
Друг с другом в жизни предстоит!..  
Шумит стесненная квартира.  
Ребята ростом высоки.  
В такой для поколенья мира  
Неподходящи потолки.  
Но им пока была б гитара.  
Гитара — вправду хорошо.  
И звук щемящего удара,  
Как дождик, по сердцу прошел.  
Отрадно, чисто и широко



В квартире стало. И затих  
Сын, оперевшийся на локоть,  
В кругу товарищей своих.  
Лишь тут, за вечер до разлуки,  
Любаясь им в кругу парней,  
Мы догадались: нет подруги,  
И стал нам сын еще родней.  
И беззащитней, и дороже  
Он стал мальчишеством своим.  
Ну где ж ты, девочка, ну что же  
Ты не нашлась, не встала с ним?  
Куда ты ходишь, загорая,  
В какие дали хочешь плыть  
И кто ты есть, одна такая?  
Ведь ты должна же где-то быть...  
... Под нервный топот на вокзале,  
Под нетерпенье поездов  
Что скажешь, если не сказали  
За восемнадцать их годов?  
Ребят взметает окрик бравый.  
Их строят. Жизнь пошла своя.  
Отцы и матери — направо,  
Налево — только сыновья.  
Щемит в груди от их равненья.  
И мы глядим, глядим, глядим  
В глаза младого поколения  
С благословением одним —  
Вставать у всех границ державы:  
Границ отеческой земли,  
Границ отечественной славы,  
Границ, что в плоть и в кровь вошли!

### СЛУЖБА

Отшумел, отгудел и за лесом  
Скрылся поезд. И, ветром обдав,



Замерцали холодные рельсы,  
Как штыки пограничных застав.  
И над ними летел, удлинялся  
Взгляд сыновний, туманный уже.  
Удалялся он все, удалялся  
И струной оборвался в душе...  
Сколько было до нас провожаний  
В этих русских полях и лесах!  
Наши матери следом бежали,  
Напи бабки крестились в слезах.  
И ничьи чужеземные дали  
Ни в какой исторический срок  
Провожаний таких не видали  
То на запад, а то на восток.  
И нигде столь горьки и бедовы  
Не вскипали так часто слова:  
«Вековухи», «солдатки» и «вдовы»,  
Как в березовых далях славян...  
Отшумел, отгудел и растаял  
Скорый поезд. А небо лилось  
И мерцало на рельсовой стали,  
Словно искры родительских слез.  
Кто сказал, что солдатские сроки —  
Служба только самих сыновей?  
Сыновья еще в вихре дороги,  
Мы же — в вихре встревоженных дней.  
Мы с ревнивой надеждою снова  
У далеких казарм сыновей.  
Хоть верна сопричастность отцова,  
Материнская —  
Вдвоем верней.  
Погляди в материнские лица,  
Их слова по-мужски не отринь,  
И тебе на минуту помнится  
Облик русских былых героинь.  
Им терпенья и стойкости хватит



Пережить и суровее дни.  
В каждом мимо идущем солдате  
Видят сына родного они.  
Нету писем — им снова не спится,  
От тоски выцветают глаза.  
Добрались бы к сынам до границы,  
Чтоб увидеть, да это нельзя.  
Промелькнет почтальон —  
Настежь двери,  
Стукнет гость — встрепенутся опять.  
Только матери могут так верить,  
Только матери могут так ждать!  
Ну а бабушки, тихо вздыхая,  
Внуков ждут по своей старине:  
Что за почта у них полевая  
И в какой же она стороне?  
Им покажут. И долго, и немо,  
Как смотрели полвека назад.  
Что-то вспомнив, уставятся в небо  
И глядят на закат, на закат.  
По домам в ожидания эти  
Поднимаются пики антенн  
И листаются зорко газеты:  
В них свистят сквозняки перемен.  
Мир бурлит и тревоги торопит.  
Прибавляет живущим забот.  
И встает пред глазами Европа,  
Да и Азия тоже встает.

### ВОЗВРАЩЕНИЕ

Дверь распахнулась. Вот он, сын!  
И замерла секунда.  
Последний шаг, да, шаг один  
Нас разделял покуда.



И руки сына в этот миг —  
На материны руки.  
Она к нему. Он к ней приник —  
И вот конец разлуки.  
Объятье сына горячо,  
Шутейно косолапо.  
Окрепло, чувствуя, плечо,  
А вот мое — ослабло.  
Ладони старших братовей  
Трещат в его ладонях.  
А в окнах пляска тополей,  
Таких густо-зеленых.  
Прекрасно возвращенье в дом  
В погонах, в добром здравье,  
В своем расцвете молодом  
И в майском разнотравье!  
... А было — пусть не о таком —  
О возвращенье просто  
Тоска дымила табаком  
В войну тысячеверстно.  
И те спасители земли  
Сквозь адовые муки  
До возвращенья не дошли...  
За них приходят внуки.  
И вот солдат в родном дому  
Расстегивает китель.  
Как хорошо, тепло ему,  
Как он окреп — глядите!  
Куда повесить?.. — бросил взгляд  
И старый шкаф заметил.  
Открыл. Два кителя висят,  
И свой придинул. Третий.  
И мысль одна ожгла опять:  
Ужели по приказу  
Сынам придется надевать  
Все три, всем трем и сразу?



Но май — ох, этот добрый май —  
Сулит душе надежду.  
Скорей солдату подавай  
Гражданскую одежду!  
И по рукам она пошла.  
Наденет — снова снимет.  
Трешил гражданская по швам  
На возмужалом сыне.  
Но подобрали... Хоть в Москву  
На праздник заявиться!  
А что — готовы к марш-броску,  
Встречай гостей, столица!  
И вот качается вагон,  
И, заструив вершины,  
Плыют березы с двух сторон,  
Как белые кувшины.  
Во весь простор, который зrim,  
Они в весенних звонах  
Плыют под небом голубым  
На скатертях зеленых.  
О, всем бы жителям равнин  
Хватило до избытка  
Из этих белых горловин  
Прохладного напитка!  
И нам бы сок берез испить  
С тобой не для забавы,  
А жар в груди поостудить  
И свежих сил добавить.  
Но мимо мы. Уже близка,  
Уже слепит огнями,  
Уже — куда ни глянь — Москва,  
За нами, перед нами.  
И после строгости казарм,  
Дорог, постов, бессонниц  
Москва — не верится глазам —  
В красе кремлевских звонниц!



От куполов, гранитных плит,  
Дворцов, палат и башен  
У нас огонь в крови кипит,  
В самосознанье нашем.  
Времен былых и новых мощь  
Всегда, мой сын, едина.  
И это, вижу, здесь поймешь  
Душою гражданина.

### СВАДЬБЫ

О свадьбе отлучки сыновьи  
Трубили. Но он, нелюдим,  
Светился задумчивой новью  
И тайной, известной двоим.  
Уже избегал чаепитий,  
Смеясь, отвечал на ходу:  
«Ну, что вы пристали — терпите.  
Скажу. Покажу. Приведу».  
«Где сваты,— вздыхал я,— где сваты?  
Они бы рассеяли дым.  
Эх, были востры, тороваты!  
А мы лишь в окошко глядим...»  
Но миг воссиял наконец-то!  
Звонок — словно с сердца замок,  
И сын со смущенной невестой,  
Как с неба — на отчий порог.  
Мы замерли. Бросились встретить.  
Мы под руку взяли любовь.  
И с первого слова на третье  
Мы поняли: свадьбу готовы!  
И жизнь, словно лодку из плеса.  
На стрежень опять понесло.  
Я вскинул рабочие весла,  
Жена — кормовое весло.



Ни мелей еще, ни излучин,  
И ветер сопутствует нам.  
И катятся волны певуче  
К распахнутым вдаль берегам.  
И вдруг берега превратились  
В накрытые жарко столы,  
И гости с цветами явились,  
И песня взлетела с иглы.  
... И пело, и плакало что-то  
В родительской нашей душе.  
И время сверкнуло с налета,  
Забытое нами уже.  
Как щеки у нас полыхали  
И, встретившись, дух замирал,  
Как первыми в жизни стихами  
Я тропки к тебе устилал.  
И как на воде да на хлебе  
В студенческих этих годах  
Мы жили... как будто на небе!  
Лишь звезды крошились в следах.  
Кружили глаза, окружали —  
Огромны, чисты и влажны...  
Ах, свадьбы сынов возмужалых,  
Вы — свет из далекой весны!  
... Я взглядом обвел пировавших.  
Увидел среди молодых,  
Как бабушки — матери наши  
Притихли в платочках своих.  
Из памяти — дали морозной  
Летел к ним все ближе, слышней  
Раскатистый посвист полозьев,  
Размашистый топот коней.  
И звон оглушил колокольный,  
И миг озарил красотой.  
И радостно стало, и больно  
От краткости, давности той.



И снова — ни звонов, ни звуков,  
И милые лица в тени...  
О, свадьбы удачливых внуков,  
Вы — свет из глубокой родни!  
...Сквозь годы обрушилось: «Горько!»  
И обнял невесту жених.  
Шипучая пена восторга  
Взвилась из бокалов хмельных.  
И в тостах заздравных и шумных  
Вздыпался призыв без конца.  
Пылали в застолье два юных,  
К друг другу склоненных лица.  
Что ждет впереди их — узнать бы,  
Но знания этого нет...  
Ах, свадьбы, сыновние свадьбы,  
Вы — в годы грядущие свет!

### ЖИЛИ-БЫЛИ...

«Жили-были дед да баба», —  
Сказки сладостный зачин,  
Огонек, мигавший слабо,  
Ласка бабкиных морщин.  
И теплее одеяла  
Добрый голос... Он угас.  
Про себя ли вспоминала  
Или думала о нас?  
...Встанут годы — что колосья.  
Взглянем в книжки сыновей:  
«Жили-были...» Рассмеемся.  
Надо б что-то поновей.  
Сказка, думаем, — забава.  
Что бывало — нынче нет.  
В сорок лет — какая баба,  
В пятьдесят — какой же дед!



Только солнышко жар-птицей,  
Хоть и светит горячо,  
С твоего плеча садится  
На сыновнее плечо.  
Вот и сказка. Вот и свадьба.  
И, тревожные сперва,  
«Жили-были дед да баба»  
Сердцу вспомнятся слова.  
А невеста, вторя всплеску,  
Скинет белую фату,  
Глянь, из лебедя в невестку  
Превратится на лету.  
Словно дочь она отныне.  
И любуйся и дивись.  
Встанет рядом сын — и в сыне  
Муж проглянет. Вот и жизнь.  
Сказкой свет ее заманчив.  
Слышишь, в двери снова стук.  
Входит мальчик. Что за мальчик?  
«Здравствуй, дед! Я — первый внук»  
И в квартире гам, толкучка.  
Дверь откроется — и вот:  
«Где ты, бабка?» — крикнет внучка  
И глазенками сверкнет.  
И под шорох листопада  
Из счастливых детских снов  
«Жили-были дед да баба»  
Добрый голос молвит вновь.

1981—1982 годы



## ОТЦОВСКОЕ ОЗЕРО

В тот июльский вечер сорок четвертого года мы, подростки, пахали поле под озимь. Жара спала, оводы не мучили лошадей, и мы криками потопали друг друга. Нам хотелось к полуночи вскружить всю пахоту, чтобы председатель, встававший рано, подивился поутру на нашу работу. Но я успел развалить лишь половину своего загона. Только выбрался с Карюхой от речки Шумечево, с низового конца поля, как увидел: по моей борозде от деревни, спотыкаясь и падая, бежит братишко. Что-то случилось! Я крикнул соседу, чтобы поглядел за моей лошадью, и кинулся навстречу брату. Он только и смог сказать, что к нам пришла почтальонка. Петряево закружилось в моих глазах, дома повалились друг на друга. В нашей избе голосили бабы, а мать стонала и билась головой об стол. Она не могла расписаться, что получила похоронку. Почтальонка ждала меня. Я сквозь слезы разглядел на серой бумажке: «похоронен в районе озера Ихантала-ярви». И расписался.

С того самого мига чужое и трудное название озера, где погиб отец, окатило нас неизбывной горечью. Где оно, это озеро, в какой стороне? И кому его искать? Мне всего четырнадцать, а братьям и того меньше. А мать — она дальше нашего райцентра нигде не бывала. И спросить некого: все мужики еще на войне. А после войны жизнь так затряслась, завертела, что не до поисков было, самим бы устоять да не потеряться.

Не знаю, не спрашивал я в те и в последующие годы своих братовей, тяготились ли они нашей общей виной из-за не найденного Ихантала-ярви, но меня этот долг, не отданный памяти отца, мучил постоянно. Мать не упрекала нас, она уже давно утвердилась в представлении, что озеро это в чужой стороне, где-то за границей, куда нам и доступа нет. И чтобы ей было полегче жить, я увеличил фронтовой снимок

отца до размеров портрета, повесил на простенок, и мать обрадовалась этому, словно и вправду почувствовала — уже на всегда — нерасторжимую и ощутимую близость с отцом. Но мне-то было ох как горько. Укоризны совести — от них не отмахнешься! А если и сможешь приглушить в себе, то лишь до того урочного часа, когда опять ворохнется в памяти прошлое, и заноет душа от вины, только тебе известной. И покажешься ты сам себе ничтожным человеком.

Особенно больно было прикасаться к отцовским письмам. Они обжигали мои руки.

Вот 30 марта 1943 года отец писал после первого ранения: «...Дорогой сын, будь спокоен и тверд, не пасуй перед трудностями, а старайся их преодолеть. Мама мне написала, что ты умный мальчик, работаешь и учишься, нет тебе выходных. Когда я прочитал это, то, поверь, слезы у меня из глаз покатились, и они были слезами благодарности тебе за твою работу и помошь маме... Скажи ей, что рана моя застает, пусть не расстраивается. Скажи также, чтобы променивала мои вещи на хлеб и картошку и узнала в райвоенкомате о моем рапорте насчет хлеба для вас...»

6 октября 1943 года, после госпиталя, получили такое письмо: «...За шесть месяцев пребывания на переднем крае нашей обороны опять привык к суровой боевой жизни под грохотом вражеских мин, снарядов, под свистом и трескотней пуль. Часто приходится испытывать тревожные минуты, забывая обо всем, но пока, как говорят, «судьба милует». С 12 сентября по 1 октября я выполнял одну работу, по окончании ее, за хорошие результаты, мне наш подполковник пожал руку. Я вам еще ни разу не сообщал о своем военном звании. Мне сейчас присвоено звание лейтенанта. Вот коротенько все о себе. Правда, можно бы много писать обо всем, что я пережил, испытал, насмотрелся, главное — о тех злодеяниях, которые творят и творили проклятые фашисты на нашей родной земле... Да, как бы я хотел помочь вам в трудной жизни, но что сделаешь — проклятый враг, которого гоним с на-

шай земли, так много принес горя и страдания не только нам, милые мои родные, но всему нашему народу, а поэтому надо стойко переживать все трудности. После победы, если останусь жив, создам для вас лучшие условия...»

После второго ранения отец 11 марта 1944 года так обращался ко мне: «...вчера получил твое письмо со стихотворением «Красной Армии» и два письма от мамы. За письма большое, большое спасибо. Спешу ответить. Завтра я из госпиталя уезжаю. Нас направляют в Ленинград, а оттуда куда направят, не знаю. Рана моя зажила, чувствую себя по-старому. Шурик, я тобой очень доволен. Во-первых, ты помогаешь маме в ее тяжелой и трудной жизни и следишь за Пашей, чтобы и он, как ты, тоже хорошо учился. Он ведь еще мал, он еще не окреп и физически и морально, как окреп ты, он еще не познал жизнь так широко, как понял ты, поэтому может легко поддаться разным вредным влияниям. А ты помоги ему в учебе, в решении задач, а если у него изорвутся сапоги, то ты как-нибудь закропай, разговаривай с ним по душам, ободрай его, и о маленьком Леве тоже не забывай, следи и за его развитием. Во-вторых, радуюсь, что ты самостоятельно занимаешься литературой и упорно работаешь над собой. Так и впредь делай. Полной рецензии на твое стихотворение «Красной Армии» я в этом письме дать не могу, некогда, если будет возможность, то напишу в следующем. Общее впечатление мое таково: стихотворение хорошее, содержательное, отражает историю Красной Армии. Но в нем есть и недостатки, в частности не выдержан размер стиха, то есть количество слов по строчкам у тебя такое: 10, 8, 9, 11, 10, 8, 7, 13...

Литературный труд продолжай и накапливай знания по всем предметам. Помни, что прочные знания, которые приобретаются в школе, нужны всякому человеку во всякой работе (и литератору, и инженеру, и врачу, и колхознику, и рабочему). Работа в колхозе в свою очередь обогащает твой умственный кругозор и улучшает материальное положение нашего дома. Также знай, что при хорошей дружбе легче пере-

носятся трудности и воспитываются надежные качества в человеке. Как видишь, дорогой сын Шура, я перед тобой ставлю очень и очень большие задачи, потому что кроме тебя у меня нет никого, кому бы я мог все это поручить — ты старший в семье».

Когда я добирался в папке до этого письма, глаза застилало жарким туманом. И не потому, что отец хвалил меня — от похвал никогда не кружилась голова, — а потому, что отец в окопах, на переднем крае войны навсегда поверил в меня как в надежного сына. Он, шагавший три года по смертной полосе, из огня в огонь, был уверен, что я ни в чем не подведу его, что я есть на белом свете, и случись ему погибнуть — будет замена в жизни. От одной этой догадки, что он думал именно так, мне становилось тяжело и тревожно. И опять болело сердце: а оправдываю ли я надежды отца?

Ведь я еще не сделал самого главного — не нашел то скорбное место, где он погиб. И начинал — уже в который раз! — искать Ихантала-ярви. Бывал в Карелии, бывал в Прибалтике — много там озер, в названии которых есть слово «ярви», но нужного мне никто назвать не мог. В отцовских письмах, несмотря на цензурные зачеркивания, все-таки проглядывали намеки, в какую сторону двигался он со своим стрелковым взводом. Упоминались бои в болотах, атаки при прорыве ленинградской блокады, стремительный выход к Новгороду.

И вот, последнее письмо от 15 июня 1944 года. «Нахожусь снова на фронте. Ленинград, за освобождение которого я дважды пролил свою кровь, остался позади нас. Сейчас трудно что-либо сказать наперед, предстоят большие испытания...» И всё! Переписка с отцом, как горячая жилка, оборвалась... Я тем июльским вечером, прибежав с поля в дом, качавшийся от причетов, едва разглядел на серой бумажке: «...геройски погиб 4 июля 1944 года. Похоронен в районе озера Ихантала-ярви».

Так где же оно, в какой стороне? Эта изнурявшая дума многие годы обессиливала меня.

И тут помог случай. Однажды Северо-Западное книжное издательство попросило меня прорецензировать рукопись фронтовиков. Когда стал вчитываться в нее, такое охватило напряжение, будто сам ползу по волховским болотам, слышу взвешенный шквал пулеметов и автоматов, чувствуя всей кожей вихрь смерти, вижу близкие брустверы в злых вспышках. И сразу я подумал об отце. Он воевал тоже на Волхове. И все, что было пережито — перемучено нами после его гибели, вновь оживляли страницы этой шершавой, как шинельное сукно, рукописи. Я до рези в глазах вглядывался в них, как в далекие зарницы войны, пытаясь найти потерянный в боях отцовский след.

Страшные по огню, ярости и натиску бои катились от Волхова к Новгороду, а потом от Ленинграда в Прибалтику и на Выборг. Какие люди погибали! Молодые, смелые, неостановимые в своем порыве к победе!

Вот один из великого и трагического их множества — Владимир Кораблин. На Карельском перешейке он бросился в рукопашную, увлекая за собой взвод. Дрогнула от такого броска и замолкла первая траншея. Он рванулся ко второй. Гранатой смел с пути проволоку, столкнулся вновь грудь в грудь с финнами, и те падали, обезумев от страха. На Володе от зажигательного осколка заполыхала одежда. Он, огненный, ринулся уже к третьей финской полосе. Наши наступавшие бойцы видели, как впереди факелом повис на проволоке их товарищ. Он еще смог швырнуть последнюю гранату на головы врагов и вспыхнул пламенем. Тут наш прорыв задержать уже ничто не могло! Владимир Кораблин посмертно стал Героем Советского Союза.

Может, и отец мой слышал о нем. Жгучая весть о подвиге молодого героя облетела весь наступавший Ленинградский фронт. Вот как было тогда. А многие ли ныне, особенно юные, знают, как это было? Горький вопрос...

Страницы рукописи источали удушливый дым боев и смертельный озnob схваток. Далее в рукописи я читал о 286

дивизии: «20 июня 1944 года дивизия получила новый приказ — наступать на север, в направлении Тали — Репала. Между двумя озерами, в узком дефиле, проходила первая линия обороны финнов. Опять минные поля, четыре ряда гранитных надолбов, пять — колючей проволоки, двухметровые траншеи, доты и дзоты. За ними, после небольшой, насквозь пропаршиваемой поляны — вторая оборонительная линия. На гряде холмов, среди скал — замаскированные пушки, минометы и пулеметы.

Однако 286-я дивизия взломала и этот рубеж финской обороны. 22 июня ее части перерезали железную дорогу, идущую от Выборга, овладели станцией Тали и вышли к району Ихантала»...

У меня перехватило дыхание.

Ихантала! Вот где это место! Вот куда, путаясь в неизвестности, так долго тянулись мучительные думы нашей матери и нас, трех сыновей, оставшихся без отца. Но в рукописи об Ихантале больше ничего не сказано. Однако путь уже указан!

Сборы мои были коротки. В Ленинграде я пробился в электричку и сел к окну. Карельский перешеек! Вот здесь, всего в тридцати двух километрах от Ленинграда, были сооружены четыре дьявольски укрепленные линии Маннергейма, считавшиеся европейскими военспецами совершенно неприступными.

Они располагались до девяноста километров в глубину и тянулись по фронту на сто тридцать пять километров, включая в себя полосы обороны и обеспечения, лесные завалы, проволочные сети, гранитные надолбы, противотанковые рвы, эскарпы, минные поля и более двух тысяч опорных пунктов с долговременными и дерево-земляными огневыми сооружениями, которые перехватывали все дороги и все межозерные дефиле. Не оставалось ни одного метра земли, который бы прицельно не пропаршивался. И все это наши армии прорвали за десять дней — с 10 по 20 июня 1944 года.

Выборг взят! Но война еще бушевала.  
Между озерами Ихантала-ярви, Киви-ярви и Сало-ярви  
еще ожесточенно трещали скалы, лопались железобетонные  
доты, вскипали озера и лилась кровь...

Я не отрывался от вагонного окна. Силился представить  
кромешную лавину войны, катившуюся по этим местам. А  
перед глазами плыли в осенней позолоте тихие перелески да  
чистенькие поселки уже с русскими названиями. Как будто  
никогда не бывало здесь боев. От мыслей ломило голову.

Выборг возник в окне высокой старинной башней. Но  
мне некогда было его осматривать. Устроившись в гостинице,  
заторопился в горвоенкомат. Там поначалу никто — ни  
дежурный офицер, ни сам военком — не могли прояснить, где  
отцовское озеро. Озер здесь столько, что и счету нет. И все  
уже давно переименованы. Было, к примеру, Сури-Хампи-  
лампи, а теперь — Большое Лошадиное. Было Перки-ярви, а  
стало Красавицей. А про Ихантала-ярви и слыхом не слыхали.  
Молодые офицеры — и вправду, где им знать, как прежде  
назывались по-фински все эти mestечки и озера. Видя мое  
горестное состояние, сказали: «Подождите, разберемся. Вот  
подойдет Артемьев — найдет ход».

Я ждал Артемьева, как спасителя. Он наконец-то пришел:  
уже пожилой, вежливый, с очень внимательным взглядом.

— Давайте поищем вместе — и Александр Николаевич  
достал из сейфа две карты Выборгского района. Старую —  
финскую и новую — нынешнюю. Взял лупу и склонился над  
синими и зелеными на картах каплями, прожилками, веточ-  
ками и крапинками. Сотни мельчайших обозначений! Я тоже  
смотрел в эту лупу, но у меня так туманились глаза, что разо-  
брать ничего не мог.

Вот Ихантала! — вскинул обрадованное лицо Александр  
Николаевич. — Посмотрите сами.

Я опять прижал к лупе и навел ее на то место, которое  
указал Артемьев. И тут, о, радость! увидел латинские очер-  
тания финских букв: Ихантала!

— А теперь, — сказал Александр Николаевич, — сравним с нашей картой и узнаем, в каком сельсовете находится это озеро.

Сравнили: на финской карте ближайшая железнодорожная станция к озеру называлась Карисалми, по-нынешнему Гвардейская. Я крепко пожал руку этому заботливому человеку и поехал в Гвардейский сельсовет.

Местный поезд шел медленно. По ту и другую сторону — холмы, болота и озера. Они, казалось, переливались из одного в другое. Которое же из них Ихантала-ярви? Сошел я на станции Гвардейской — вокруг сосняки и скальные осыпи. И опять озера. Одно — справа, другое — слева, холодные и безмолвные в своей тайне. В сельсовете застал двух молодых женщин — председателя и секретаря. На мой вопрос они переглянулись друг с другом: нет, не знают, которое из близких озер Ихантала-ярви. Они родились здесь после войны и, конечно, не слыхали, как раньше назывались эти озера. Таких сведений и справочников у них нет. Меня охватило отчаяние. И тут женщины догадались направить меня к Николаю Алексееву — человеку, знающему эти места. Он тоже подрастерялся: что-то слыхал об Ихантале, а которое оно — точно сказать затруднялся. Недолго гадая — вот отзывчивость! — накинул куртку и повел меня по тропе в лес.

— На хуторе Лампия живет Дмитрий Михайлович Михайлов, — сказал он. — До него верст пять. Всезнающий мужик. После войны заведовал охотничим хозяйством. Уж он-то скажет точно.

И мы торопливо двинулись по лесу. Тропа то вскидывалась на скальные подъемы, то падала в зыбучие мхи.

Заморосил дождь. Вокруг потемнело. Хвойные ветки стегали и мешали разглядеть тропу. Я почувствовал боль в груди, на ходу глотал валидол, но от Николая не отставал. Впереди, за березняком, послышался лай собаки.

— Вот и Лампия, — сказал Алексеев и остановился, чтобы закурить. Я, изнемогая от усталости, присел на мокрый валун. Наконец-то! Когда мы промахнули березняк, увидели стожок сена и два домика.



Собака с лаем заметалась у изгороди, но, узнав Алексеева, стихла, лишь косилась зорко на меня, и впрямь оробевшего перед такой пастью и сердитым взгривком.

Из дома вышла хозяйка и приструнила собаку. Мы познакомились. Это была жена Михайлова — Зинаида Васильевна. С первого взгляда она обогрела нас спокойной приветливостью. В лице ее, чуть усталом от прожитых лет, сохранились мягкие отсветы былой красоты, а в движениях, в разговоре была та естественность и простота, которая свойственна добрым женщинам.

— Хозяин-то вон едет, — показала она на озеро, подступившее к их домикам. — Уже увидел нас.

Я взглянул туда: из сумеречной мороси торопилась к берегу легкая лодка. Сердце мое забилось.

Дмитрий Михайлович ловко причалил к дощатому настилу и, сутулясь, поднимался к нам на берег. Собака вертелась у его рыбакских бродней, норовила лизнуть руки, но он ласково отмахнул ее в сторону. Когда он распрямился, я увидел крупное мужицкое лицо и под нависшими бровями умные и охватистые глаза.

— Здравствуйте, люди! — голос оказался мягкий и певучий, как бы не соответствовавший грубоватому и грузному облику пожилого лесника. — Заходите в дом, к чаю.

Пока мы раздевались, Зинаида Васильевна расторопно накрыла стол. Но и в тепле этого просторного уюта меня по-прежнему знобила тревога, и я нетерпеливо начал разговор. Дмитрий Михайлович, уже по-домашнему расслабившийся, внимательно наклонился ко мне,

— Ихантала-ярви? — переспросил он.

— Да, Ихантала-ярви, — замирая, повторил я.

— Так это теперь Петровское озеро.

— Где, где оно?

— От моего дома — семь верст по лесу.

Я бросился обнимать Дмитрия Михайловича. Камень, горючий камень снял он с моей души! Зинаида Васильевна и Николай тоже взволновались и затихли.

— Ведь ты, Николай, знаешь это озеро. Помнишь, сетки ставили, — Дмитрий Михайлович повернулся к Алексееву.

— Да, помню, но вот оно ли Ихантала называлось, усомнился. А дело у товарища такое, что тут без ошибки надо. Вот к тебе и повел.

— Петровское оно теперь, Петровское, — Дмитрий Михайлович положил надежную руку на мое плечо.

— В сентябре сорок четвертого, когда финны у нас все-таки запросили мира, на охрану государственной границы пришла наша часть, а меня назначили старшим егерем. Надо было заводить свое пограничное хозяйство, самим кормиться. Так мы, егера, поначалу стали саперами. Кругом — мины. А незахороненных солдат — тысячи! Страшно было взглянуть. Где земля — закапывали, где скалы — камнями заваливали. Ставили столбики, на дощечках где фамилии, а где одно число писали. Вот как было. Мемориал-то Петровский уж потом сделали. Да еще три братских кладбища. Свезли туда из напих захоронений. Конечно, не всех. Да и мы-то не всех предали земле...

Дмитрий Михайлович уже не мог говорить — потемнел лицом. Зинаида Васильевна забеспокоилась. Но он бережно отстранил ее рукой.

— Вот что, Саша, — обратился он ко мне, — я тебя свожу на озеро, только не завтра. Ноги мои сдают. Погости у нас день-другой — сходим.

И опять я обнял его, уже родного для нас человека, поблагодарил и спросил, как из Выборга добраться до озера.

— А очень просто, — сказал Дмитрий Михайлович, — садись на рейсовый автобус — и до Петровки. Сперва будет мемориал, а потом озеро. Оно рядом с бетонкой. Озеро длинное, тянется справа. Какие там были бои!... — и он прикрыл широкой ладонью вновь затмневшее лицо...

Кое-как перемог я эту ночь в Выборге и наутро устремился к Ихантала-ярви. Вот и Петровский мемориал — гранитный полукруг с высеченными словами:

**«Есть у Отчизны каменные книги  
Печали вечной и бессмертной славы.  
Одну из них, гранитную, прочти.  
Имен здесь много, много безымянных,  
Их путь земной недолог был, но ярок.  
Они погибли, победив».**

В горестном оцепенении медленно прошел я у навесных плит с фамилиями погибших. Более четырех тысяч имен! Отыскал Романовых. Семь однофамильцев, но мой отец Александр Александрович не упомянут. Он — в безымянных. Острая боль полоснула сердце. Не помню, как вышел из ледяного полукруга. Помню, что оказался на зеленом холмике. Оглянулся: кругом какие-то красные ягодки. Они стыли на низких кустиках. А кустиков-то — длинная и ровная полоса. Могилы? Я поднялся и тяжело побрел рядом с мерцавшими ягодками, словно каплями крови.

Отец не упомянут. Это уже моя вина. Мой грех. Мой стыд. Мог бы приехать я раньше, мог бы! Как теперь идти мне с ущербной совестью?.. Отец лежит здесь, в этой округе. Под каждым шагом — он. Каждый шаг — боль... И я пошел к Иханталу-ярви.

И вот последний перевал —  
Последний в небе сером!  
Меня всего — до пят — обжал  
Своим гранитным ветром.  
И по камням, как взгорьям льда,  
Сдирая мох корявый,  
Я заскользил туда, туда,  
Вниз — к Иханталу-ярви.  
Оно средь множества озер,  
Уже в пути мелькнувших,  
Таилось в скалах с грозных пор  
Безлюдней всех и глуше.

Еще не видимое мне  
В лесистом междугорье,  
Прошло ознобом по спине,  
Качнулось жаром в горле.  
И вдруг блеснуло, как сполох,  
Сквозь навесную хвою.  
К ногам прихлынуло врасплох  
Тяжелой синевою.  
Я обмер. Будто в берег врос.  
Так вот оно какое!  
Темнело чашей вдовьих слез  
В своем взрывном покое.  
Белели чайки лишь окрест  
Да сосны зеленели...  
Я перед скорбью этих мест  
Свалился на колени.  
Отец, ты слышишь ли меня? —  
К песку припал в печали.  
Каменья, душу леденя,  
Молчанье источали.  
Лишь сосны, как ответ земли,  
С озерных косогоров  
Над головою пронесли,  
Похоже, тихий говор.  
И в нем, как слабый ветерок,  
Далекий, вологодский, —  
«Что задержался-то, сынок?» —  
Провеял вздох отцовский.  
И я в шуршании песка  
Шептал, теряя силы:  
— Прости, что долго я искал.  
Тебя мы не забыли...

Впервые так остро и наяву почувствованная близость с отцом жарким током прокатилась по жилам. Я встал с колен



В своей стихии...



Разговор о живописи. «Куда же Русь уходит?»  
В мастерской художника В.Н. Корбакова  
В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.А. Романов.



Верный друг Виктор Коротаев.



А. С. Дрыгин вручает А. Романову орден «Знак Почета», 1980 год



В Ленинградском университете на вечере памяти Н.М. Рубцова, Выступает А. Романов, в призидиуме В. Астафьев, справа: В. Кожинов, С. Куняев. 1986 год.



На тотемской земле, в деревне Никола.



Серьёзный разговор с читателями. А. Романов, В. Коротаев, В. Оботуров.



«Объятия отцовских надежд». С сыновьями Сергеем и Владимиром.



«Ах, свадьбы шумные!» Свадьба младшего сына Александра.



В родном доме в Петряево. Рогульки для внука Вани.



Внуки растут быстро! Романовы Саша, Миша, Ваня, 2003 год.

## → Мать перед портретом отца

Вот плачу я, а ты молчишь...  
Единственный в судьбе,  
Поручи немую эту тинь.  
Весь я — жена тебе.  
Ты — молодой, а я — то, я...  
Старуха — позади.  
Вот навестили сыновья —  
Растягло в труни.  
Давно семейные они,  
И ты — давненько дед.  
Ну, хоть словечко оброни,  
Ты их узнал или нет.



Я твой исполнила наказ,  
Все просьбы, до одной.  
Ребята добрые у нас —  
Порадулся со мной.  
Вот станут в Клубе выступать  
На людях, на ~~банду~~.  
Сказали мне: „Пойдем-ко, мать“,  
Да я чуж не дойду.  
С тобой — так мне и гас бы дых,  
Мог сели б в средний ряд,  
Чтоб услышать, что о них  
Соседи говорят.  
Но ты молчишь. Но ты молчишь...  
Единственный в судьбе,  
Поручи немую эту тинь.  
Весь я — жена тебе.

А. Романов



Возьму ли серг с насткой ржавой.—  
Молчаносный полукруг—  
Влию пахнет ягменным жаром  
И силой материнских рук.  
Возьму ли косу с размахом хватки—  
И мать представлю молодой,  
А на янтарной рукоятке  
Её полууставую ладонь.  
Возьму ли утром полотенце—  
Таких узоров в мире нет—  
И обольется светом сердце,  
И это—материнский свет.



На крыльце родного дома



«Могу ли я сказать про себя, что я счастливый человек?..»



1985 год. Мемориал возле озера Ихантала-ярви. Три брата у горестной плиты с надписью «Романов А.А., 1944».

и пошел сквозь березки, в желтом вихре листвы, к озерному спуску. Осыпался песок, утопали кочки, зыбилась осока. Холодная вода хлынула в сапоги. Ощущив дно, я брел дальше и дальше, уже по пояс, на чистую синеву.

А там испил этой студеной воды вместе со своими слезами да умылся. Будто причастился и очистился.

Обсушившись у костерка, я до вечера бродил один-одинешенек по берегам отцовского озера. Сколько здесь траншей, развороченных дотов, ржавой проволоки и ядовито-зеленых гильз! Из воронок и окопов тянутся к небу березы да сосны, хотят скрыть бушевавший ужас войны, но камни, уложенные на брустверы траншей, не дают и деревьям заслонить прошлое. Камни — вечные свидетели горя и беды. Вспомнив старую мать, ждущую бессонно в Петряеве, я набрал камешков из траншей, чтоб увидела, потрогала она острый холод тех берегов, на которых воевал и погиб отец.

Надо действовать! Я вернулся в Выборг и сразу — к Александру Николаевичу Артемьеву.

— Пишите два заявления, — сказал он. — Одно — председателю райисполкома, другое — горвоенкому. Имя вашего отца будет увековечено в Петровском мемориале. Будет восстановлена справедливость.

Какие хорошие люди встретились на моем поисковом пути! Первый — Артемьев. Он не только определил по карте, где Ихантала-ярви, но подготовил документы и нашел мастера гравировки, чтобы врезать в металл среди четырех тысяч имен и отцовское имя на Петровском мемориале. А Михайловы — Дмитрий Михайлович и Зинаида Васильевна! Если бы не они да не Николай Александрович Алексеев из Гвардейского, долго пришлось бы кружиться и путаться мне среди выборгских озер. А Ольга Владимировна Шишлова — она быстро продвинула мое заявление в райисполкоме. А Николай Иванович Базанов, полковник в отставке, земляк, щедрой души человек! Он более двух месяцев в Центральном архиве Советской Армии по документам восстанавливал всю

военную биографию отца. Это он узнал, что отец на Карельском перешейке воевал не в 286-й, как полагал я, а в 168-й дивизии, в 462-м стрелковом полку и 4 июля 1944 года возглавил штурмовую группу второго батальона.

Штурмовая группа! Как вспомню ихантальские холмы, увитые траншеями, словно длинными патронташами, как представлю, что отец первым поднимался на ножевые вспышки амбразур, так и прихлынет к глазам кроваво-огневая буря. Будто это я сам, живой еще, скатываюсь в первую траншею, в шинельно-зеленую, полную мечущихся врагов щель и, падая, вижу в последнем просвете, как падают финны и наши солдаты...

Отцовское озеро омыло меня леденящей правдой войны. На нем, в скорбной тишине, я ощутил суть самого себя как человека и с беспощадной ясностью увидел смысл своей жизни. И до скончания дней буду таким, каким вернулся с отцовского озера.

1986 год





# ОТЕЦ

1

Отец купил перед войной  
Диван огромный, черный.  
Как сани, выгнуто-резной,  
Из дерева точенный.  
В нем подлокотья завиты —  
Ведь надо ж так изладить! —  
Как будто конские хвосты  
С кручеными узлами.  
И тихо радовалась мать,  
Цвела, как молодица,  
Что стали избу обставлять,  
Добром обзаводиться.  
А мама выйдет, я и брат,  
Отчаянны и резвы,  
Как на игривых жеребят,  
На подлокотья лезли.  
Отец доволен был. И сам  
Тогда возился с нами.  
Смотрел на этот шум и гам  
Хорошими глазами.  
Любил он книги и детей,  
На просьбы — добрый, скорый,  
Из самоучек грамотей,  
Учитель местной школы.  
И не менял он ничего  
Из вековых понятий.  
Не папой звали мы его,  
А по-крестьянски — тятей.



Он и не вышел из крестьян,  
Радел родному mestу.  
А этот купленный диван —  
Лишь дань интеллигентству.  
В прохладе белых вечеров,  
План сочинив заране  
И дров посушне наколов,  
Он думал на диване.  
С покоса возвращалась мать  
В переднике нарядном  
И, обрядившись, отдыхать  
Присаживалась рядом.  
Ей было радостно с отцом  
В притулье том просторном...  
Но вот закат перед лицом  
Поднялся красным терном.  
Горел так странно в высоте  
В тот вечер, что собаки  
Завыли вдруг, косясь на те  
На огненные знаки.  
Им вздрогнуть бы, взглянуть вокруг,  
Встревожиться бы надо.  
Но не разъять ни губ, ни рук  
В порыве безоглядном.  
И луч покуда не померк,  
Смеялись, обнимались,  
Не чуя сердцем, что навек  
Той ночью расставались.  
Наутро — помню — конский скок,  
И крики, и рыданье.  
Война!.. И собранный мешок  
Белеет на диване.  
... Теперь над ним — портрет отца.  
Взгляд обращен к застолью.  
Я много лет в черты лица



Смотрю с пытливой болью.  
Мой взгляд летит в отцовский взгляд,  
Задумчивый и строгий,  
Как будто судеб перехват  
И даль одной дороги.  
Смотрю — и словно оживет  
В лице подобьем тени  
Страда средь волховских болот  
И маesta ранений.  
Смотрю — и смолкшее давно  
Вот-вот услышу слово.  
С отцовских губ слететь оно,  
Мне кажется, готово.  
Нет, не узнать — оно о чем.  
Я всматриваюсь долго  
В отцово правое плечо,  
Пробитое осколком.  
Оно — поуже, и погон  
На нем — как будто скобка.  
На голове вполунаклон  
Отважная пилотка.  
Весь облик, дальний и родной,  
Без черточки случайной.  
Как ни взгляну — передо мной  
Овеян скорбной тайной.  
И долго мучило, как звон  
Разбитых колоколен,  
Названье озера, где он  
Погиб и похоронен.  
Мы не могли связать сперва  
В той давней страшной яви  
Твои, нам чуждые слова,  
Ох, Ихантала-ярви.  
Названье, трудное на слух,  
У нас в слезах кипело.



И перехватывало дух,  
И в сердце каменело.  
И горе в нашу жизнь впряженось.  
Мать билась, причитала:  
— Ну кто земельки, хоть бы горсть,  
Привез мне с Ихантала...

## 2

Читать без боли не могу  
С войны отцовы письма.  
Слова — как люди на бегу  
И как огнища — числа.  
В поспешности карандаша,  
В его крутых нажимах  
Горит солдатская душа,  
Победой одержима.  
Победа! Далеко она,  
А рядом визг осколков,  
Свист пуль. И вспучен докрасна  
Сугробный, топкий Волхов.  
Но встань и Родину закрой  
Перед врагами местью!  
И смерть — за смерть. и кровь  
— за кровь,  
А если гибель — с честью!  
И добрый, мягкий нрав отца  
В том мире довоенном  
Твердеет мужеством бойца  
И закипает гневом.  
Себя ль, себя ль щадить сейчас,  
Когда грохочут орды.  
Перед славянами кичась  
Своим арийством подлым.



И рвутся землю нашу сжечь,  
Россию обесславить,  
Стереть наш облик, нашу речь,  
Историю и память.  
Нет, превосходства никогда  
Над нами не добиться  
«Чистопородным господам»  
И всем иным арийцам!  
Русь потому и велика,  
Что в ней корысти мало,  
Русь потому стоит века,  
Что братства ей хватало!  
Вот враг и дрогнул под Москвой,  
Под Ленинградом дрогнет...  
И мой отец из боя в бой  
Спешит по той дороге.  
Я лишь теперь прочесть могу  
В намеках тех безвинных  
Про Тихвин, Ладогу и Мгу  
И Новгород в руинах.  
Отец пред нами обнажен  
До сокровенной глуби.  
И нас подбадривает он,  
Сильней, чем прежде, любит.  
Но вот последнее письмо.  
Нет и не будет больше  
Ни в пачке, связанной тесьмой,  
Ни в сумке почтальонши.  
Она придет еще, придет  
К нам с почты, чуть живая,  
И схватится за огород,  
Как в дом войти не зная.  
И принесет в разноску ту  
Уж не письмо в конверте:  
В нем запечатают беду —



Прикосновенье смерти.  
Ох, до разноски той всего  
Две грозные недели...  
Отец писал, а вокруг него  
Бугры громов гремели.  
Писал... На скосе уголка  
Разорванная пушка.  
Из Боевого, знать, листка  
Бумаги четвертушка.  
Писал — слова теснились вкось  
На том закрайке рваном,  
Что им — вот радость — довелось  
Проехать Ленинградом.  
И что его стрелковый взвод  
И все подразделенье  
Уже продвинулись вперед  
На новом направленье.  
И все... И карандаш заглох  
В том дне, далеком, летнем.  
Но слышу я последний вздох  
Над ним, письмом последним.  
Сквозь годы слышу. Он глубок.  
Отцовский вздох, и горек,  
Когда отец свернул листок  
В последний треугольник.  
Держу его — и тяжко мне.  
Вновь сердце — на пределе.  
А что же я в том дальнем дне  
И чувствовал, и делал?  
Июнь. Сорок четвертый год.  
Нет мужиков в колхозе.  
Лишь мы да матери. Идет  
Страда на сенокосе.  
И я косою — вжик да вжик  
Во тьме цветов, соцветий —



Уж не мальчишка, а мужик  
Четырнадцати летний.  
И в час, когда писал отец,  
Я, может, в знойном круге  
Метал стожище, мокрый весь  
И черный от натуги.  
Ну что же чувствовать я мог?  
Меня хвалили бабы,  
А мне свалиться бы под стог,  
На полчаса хотя бы.  
И вдруг берестово бела —  
Так угнетала ноша —  
С последней вестью прибрела  
Немая почтальонша.  
Мать опрокинулась от слез,  
Дом вздрогнул от обвала.  
«Ой, кто земельки, хоть бы горсть,  
Привез мне с Ихантала!..»  
Долг, предназначенный тебе,  
Не передашь другому.  
Подумай о своей судьбе,  
Поторопись из дома.  
И я в типпи библиотек  
По справочникам шарил,  
Но средь названий в книгах тех  
Нет Ихантала-ярви.  
И я в Карелии искал,  
В озерном лучезарье,  
Но и в краю былинных скал  
Нет Ихантала-ярви.  
И по Прибалтике бродил  
Местами грозных зарев.  
Солдатских много здесь могил  
Без Ихантала-ярви.  
И жизнь моя была б темна



От покаянной муки,  
Когда бы рукопись одна  
Не обожгла мне руки.  
Спасибо вам, фронтовики!  
Воспоминанья ваши —  
Навек нетленные венки  
Солдатам — братьям павшим!  
И в душу мне, как в мертвый зной,  
Вдруг хлынул свежий ветер:  
В пути дивизии одной  
Я путь отца заметил.  
И карту сразу распростер.  
На карте порыжелой  
Вскипел осколками озер  
Карельский перешеек...

### 3

И я на Выборг взял билет.  
Как дешев он, как дешев!  
С таким в траншее страшных лет  
Проедешь ли, пройдешь ли?  
Но в путь! Народ под стук колес  
Шумел струей вагонной,  
А время памяти неслось  
Струею заоконной.  
И две струи, как свет и мрак,  
Как жизнь и смерть, сближались,  
Не совместимые никак,  
Во мне пересекались.  
Уже погас и Ленинград,  
Его дворцы и шпили.  
Поселки с дачами в обхват  
Багряным садом плыли.



Краснели яблони. Но я  
Хотел представить зrimо  
Не листопад, а вихрь огня,  
Не яблони, а взрывы.  
И проникал сквозь эту близь  
До смертного предела.  
В одном окне сияла жизнь,  
В другом — война чернела.  
Я как из мертвых ожидал  
В тягучем напряженье.  
Так вот он, белофинский вал,  
Карельский перешеек!  
Вот здесь тщеславный Маннергейм  
Средь гибких поворотов,  
Как на гигантской остроге,  
Ощерил тыщи дотов.  
Любой валун сумел учесть  
В системе злобно-хитрой.  
Не зря к нему — какая честь! —  
Пожаловал сам Гитлер.  
Я представлял, как сверху вниз  
Сверлил он карту взглядом.  
Железный крест его навис,  
Трясясь, над Ленинградом.  
Чем напиши недруги тесней,  
Тем к русским ненавистней.  
Для них в безумии страстей  
Ничто мильоны жизней.  
«Герр фюрер, рюсси не пройдут,  
Мы до победы с вами!»  
Гость обнял маршала: «Зер гут» —  
И опалил глазами.  
И руку вскинул Маннергейм,  
Как подхватил ошейник.  
И батальоны егерей



Вцепились в перешеек.  
Что ж, как в сороковом году.  
Так вновь в сорок четвертом  
Мы в этом чертовом аду  
Пошли бесповоротно.  
Пошли опять на тьму преград,  
Чтоб вынужденным шквалом  
Обезопасить Ленинград  
На том пространстве малом.  
Пошли, чтоб Выборг вновь вернуть  
Накатистым ударом...  
Я примечал отцовский путь  
Лишь по селеньям старым.  
Крутилась Райвола, как вихрь,  
Дынились Мустамяки.  
Названья мягки, только в них  
Взревела сталь атаки.  
Вот Кутерселькя в рвах крутых,  
Вот в надолбах Перкярви.  
Названья тихи, только в них  
Столкнулись громы армий.  
И грудью в грудь вставали здесь  
И падали солдаты  
На переплеты черных рельс  
И рыжие накаты.  
На взъем шоссе, в трясины мхов,  
На прозелень опушек.  
На проволоку в пять колов  
И навзничь от «кукушек».  
Вон сквозь озерный голубец  
Из скрытого обхода  
На дот, быть может, мой отец  
Метнулся с горсткой взвода.  
Успел ли он из-под огня  
За валуны приткнуться?



Солдат, взгляни! Но на меня  
Ему не оглянуться.  
Он далеко... В аду войны  
Не слышно человека.  
Мелькнув, упал за валуны  
С предсмертного разбега.  
И тишина. И холмик там  
Среди раскатов гула.  
Оттуда по моим глазам  
Лишь сосенка скользнула.  
Мне стужа сердце замела...  
Но наконец — и Выборг.  
Тянулись в небо купола  
Под голубиный выпорх.  
И с высоты глядел в залив,  
Где плыли наши флаги,  
Петр Первый, руку приспустив  
К эфесу вечной шпаги.  
И в парках, листьями звеня,  
Сходился люд помалу.  
Манила всюду жизнь. Но я  
Рванулся к Иханталу.

4

... Где-то далеко на фланге  
шли непрерывные бои. В той  
стороне находилась Ихантала.  
Тайсто Хуусконен.  
«Стальной шквал»

И вот последний перевал —  
Последний в небе сером! —  
Меня всего — до пят — обжал



Своим гранитным ветром.  
И по камням, как взгорьям льда,  
Сдирая мох корявый,  
Я заскользил туда, туда,  
Вниз — к Иханталу-ярви.  
Оно средь множества озер,  
Уже в пути мелькнувших,  
Таилось в скалах с грозных пор  
Бездндей всех и глупе.  
Еще невидимое мне  
В лесистом междугорье,  
Прошло ознобом по спине,  
Качнулось жаром в горле.  
И вдруг блеснуло, как сполох,  
Сквозь навесную хвою,  
К ногам прихлынуло врасплох  
Тяжелой синевою.  
Я обмер. Будто в берег врос.  
Так вот оно какое!  
Темнело чашей вдовьих слез  
В своем взрывном покое.  
Белели чайки лишь окрест  
Да сосны зеленели...  
Я перед скорбью этих мест  
Свалился на колени.  
— Отец, ты слышишь ли меня? —  
К песку припал в печали.  
Каменья, душу ледяня,  
Молчанье источали.  
Лишь сосны, как ответ земли,  
С озерных косогоров  
Над головою пронесли,  
Похоже, тихий говор.  
И в нем, как слабый ветерок,  
Далекий, вологодский:



«Что задержался-то, сынок?» —  
Провеял вздох отцовский.  
И я в шуршание песка  
Шептал, теряя силы:  
— Прости, что долго я искал,  
Тебя мы не забыли.  
Отец, промолви, где лежишь?.. —  
Но мой вопрос напрасный  
Унес встревоженный камыш  
В озерное безгласье.  
Поди ищи теперь следы  
Могил, давно заросших,  
В песках сырых, во мхах седых,  
В траншейных ржавых толщах.  
Иль, может, на озерном дне,  
Иль в тесноте обвала,  
Иль в братских, выросших поздней  
Холмах мемориала.  
Никто не скажет — где. Но здесь  
Отец мой похоронен,  
Где сосны вскинули навес  
Подобъем колоколен.  
Они могуществом корней  
Сплели такую завязь,  
Что там, в потемках смертных дней,  
Теперь отца касались.  
И я, его живой двойник,  
Хотел такого чуда,  
Чтоб голос мой туда достиг,  
Отцовский зов — оттуда.  
В дыханье сосен, мокрых мхов,  
В былинке, мной примятой,  
И вправду я услышал зов,  
Лишь только сердцу внятный.  
Я встал с колен, глаза утер,



Пошел, внимая зову,  
К шоссе, открывшему простор.  
К болотному низовью.  
А там в кочкарнике глухом,  
Как снежные полоски,  
Росли над каждым валуном  
Плакучие березки.  
Они ожгли мои глаза  
Прощальным листопадом,  
И я расслышал голоса,  
Провеявшие рядом.  
«Здесь под свинцовым сквозняком  
Мы за Россию пали  
И поднялись березняком,  
Чтоб люди вспоминали».  
Я застонал у тех берез  
В немыслимой печали.  
И дрожью озеро взялось,  
И чайки закричали.  
Здесь под листвой не видно троп.  
Я сделал шаг поспешный  
И ухнул в каменный окоп —  
Во мрак войны кромешной.  
Свалила боль, пронзил испуг  
И холод — как в могиле,  
И немота — как будто вдруг  
Тебя все позабыли.  
Не встать, не выйти, не взглянуть  
На белый свет вовеки.  
И сквозь твою пропасть грудь  
Из-под земли побеги...  
Что боль моя пред болью той  
В страдании предсмертном!  
А жив ли тот, кто встретил бой  
Вот здесь, в окопе этом?



И кто он был и где теперь?  
О нем — нигде ни слова.  
Попробуй, подвиг тот измерь  
Солдата рядового!  
Я встал из мрака и воды  
И увидал, что рядом  
Ходы, траншейные ходы  
Чернели ряд за рядом.  
И маю ту тех страшных дней,  
Сраженье за сраженьем  
Увидел в подлинности всей  
Уже окопным зреньем.  
Вон два холма и взъем крутой  
В отеках скальной сини.  
Меж них шоссе — подать рукой,  
А мы — в сырой низине.  
Но надо было взять холмы,  
Дорогу перерезать.  
За взводом взвод бросали мы  
На крепость из железа:  
И не из этих ли траншей  
По волевому знаку  
Отец, суроно построжев,  
Солдат повел в атаку?  
Опять отвагу покажи,  
Уйми и страх, и нервы,  
И на огонь, штыки, ножи  
Встань, взводный, самым первым!  
Он полз с решительным лицом,  
Готовился к мгновенью.  
И мнилось мне, что за отцом  
Скользжу я поздней тенью.  
Прицельно били егеря,  
Низина грохотала.  
Чадил, стропила завихря,



Поселок Ихантала.  
И дым траншеи заволок,  
Спасителен и горек.  
В нем — только промельки сапог  
Да мокрых гимнастерок.  
И только мне была видна  
Прикрытая осокой  
Спина, отцовская спина  
В поту войны жестокой.  
Он подтянул поближе взвод,  
Взмахнув, привстал с гранатой  
И — на дорогу, и — вперед,  
Вперед на взъем проклятый!  
Гнездо прикрытья сметено,  
Другое — захлебнулось...  
И вдруг кровавое пятно  
В глаза мои метнулось.  
Оно росло, росло, росло  
В гуденье, крике, вое,  
Кружилось, будто колесо  
Кроваво-огневое.  
И все красней, и все больней,  
Свет белый заливая,  
По мне катилось, по земле  
Вдаль без конца и края.  
И горе плачами неслось,  
Сама земля сгорала.  
Очнулся я... Ах, свет берез  
Над синью Ихантала!  
Поселка нет. Спален дотла.  
Кустарник лишь теснится.  
Я вспомнил мать. Она ждала  
Отсюда горсть землицы.  
Что взять со скального ребра  
И кочек обомшелых?



Студеных камушек набрал  
Со дна сырой траншеи.  
Нелегок этот узелок  
На память с Ихантала.  
И к озеру наискосок  
Спустился я устало.  
Оно тоскою разлилось.  
Сквозь тихие затоны  
Поднял соцветия рогоз,  
Как черные патроны.  
Я вскинул пригоршню с водой,  
Чтоб в горести умыться,  
К солдатской памяти святой  
Душою причаститься.  
Стоял, не обтерев лица,  
Забыв себя и время.  
И облегченный вздох отца  
Живым листком провеял.  
Провеял, слышимый чуть-чуть,  
И в шире поднебесной  
Открылся весь отцовский путь —  
Тяжелый, долгий, честный.  
И облик, близкий и родной,  
Без черточки случайной,  
Так чист, так ясен предо мной  
Вот здесь, в тиши печальной.

5

Я — в дом, а мать — ко мне на грудь,  
Как из тумана — к свету.  
Так заждалась — не прдохнуть,  
Устала — мочи нету.  
Ей все казалось: вот вернусь



Да сяду рядом с нею  
И отведу тоску и грусть,  
И в сердце мрак рассею.  
О, мать! Усядемся давай  
Без чайной канители  
На старый памятный диван,  
Где вы с отцом сидели.  
Ну, слушай верный мой рассказ,  
Пусть сбивчивый вначале,  
О слишком горестном для нас,  
Далеком Ихантале.  
У ней тревожно-светлый вид.  
И зорче все и выше  
Она, внимая мне, глядит  
Вдаль, за родные крыши,  
За поле ржи, за край земли,  
Где вольно ветродую,  
И видит озеро вдали,  
Как братину седую.  
Там общий памятник стоит.  
Там в скорбный ряд с другими  
Я на одну из многих плит  
Занес отцово имя.  
Одну строку меж тысяч строк,  
Но ведь — из тьмы безгласной!  
И положил туда венок  
От нас зелено-красный.  
Венок — под именем — ветвист!  
И чуткие березки  
Легко роняют желтый лист  
В глубокий сон отцовский...  
Ко мне прижавшись, плачет мать,  
Дрожат сухие плечи.  
И на портрет глядит опять,  
Отцово имя шепчет.



А материнскую ладонь  
Мой узелок оттуда  
То обжигает, как огонь,  
То режет, как остуда.  
Глухие камни — и они  
Вот даже малой горсткой  
Являют грозный лик войны  
Свою правдой жесткой.  
А за окном хлопочет жизнь,  
Забыв былые беды...  
Над всеми войнами взметнись,  
Всемирный свет Победы!

1985 год

Спасибо Вам, фронтовики!  
Воспоминанья Ваши —  
Чаек нетленные венки  
Солдатам — братьям павшим!

# ПРОЩАНИЕ С МАТЕРЬЮ

1

Нам трудно было расставаться.  
Понять бы мне и погодить:  
Ведь тяжелее оставаться,  
Чем, вскинув ношу, уходить.  
Я думал: мать еще здорова,  
А сам невольно уносил  
Из-под родительского крова  
Тепло ее последних сил.  
Я уносил ее наказы,  
Ее рассказы про житье,  
Но унести не смог ни разу  
Лишь одиночество ее.  
И вновь она рукой чертила  
Знак подорожный мне вовслед,  
Чтоб упасла благая сила  
Меня от горестей и бед.  
Она — фуфаечка внакидку —  
Вновь провожала до угла.  
Держась рукою за калитку,  
Теряла все, что берегла.  
И вот уж поле между нами...  
И может, мой поспешный след  
В глазах ее поплыл слезами  
И опрокинул белый свет.

2

В больнице слабыми устами  
С трудом вышептывала мать:  
«Прости меня... Я жить устала.  
Устала ждать и провожать».  
На свете нет больней и горше  
Бессилья: матери — невмочь,  
И нечем, нечем, нечем больше  
Ни обнадежить, ни помочь.  
Целую мать, дышу над нею,  
И веют в душу, как трава, —  
«Живите, милые, дружнее» —  
Ее последние слова.

3

И прервалось биение пульса.  
Она скончалась. Мир вокруг,  
Нет, не перевернулся,  
А потемнел и сжался вдруг.  
Губ не разжать — слова фальшивы.  
Им не вместить ни жизнь, ни смерть.  
Но это боль!.. Покуда живы,  
Лишь ей в душе не замереть.  
О, как бы надо жить иначе —  
В кругу семьи, в кругу родни!  
Стоим над матерью и плачем,  
Как в пустоте, совсем одни.

4

На кухню, в мрак печной заслонки,  
Метнуло солнышко лучи.

Но этот звон призывно тонкий  
Угас в нетопленой печи.  
Приподнялось над лесом солнце  
И заглянуло в огород.  
Где овощ зрел — мокрец пасется,  
Где злак взрастал — крапива прет.  
Взлетело солнце в глубь вселенной,  
Лучи скосило в дальний дом.  
Где самовар кипел семейный,  
Там стынет сумрак за столом.  
И, не найдя нигде хозяйки,  
Его встречавшей целый век,  
Склонилось в хвойные закрайки,  
И долго свет багровый мерк...

5

Жизнь у нее переломилась  
Еще в войну. Да так остро,  
Что в горе будто затворилась,  
Ушла в суровое вдовство.  
И отдала всю участь дому,  
А сыновьям — любовь свою,  
А силу — полюшку родному,  
А верность — павшему в бою.  
Тоску, отчаянье, обиды  
Попробуй в сердце пережечь...  
Глядит с портрета муж убитый  
На лик жены в мерцанье свеч.

6

И шли они со всей округи  
С уставом — свычаем своим,

Ее товарки и подруги  
Первоначальных лет и зим.  
О, ими пройденные дали —  
Как пламень, скрытый под золой!..  
В единоличниках живали,  
Потом — меж небом и землей.  
Шли в хутора, вступали в ТОЗы,  
Катились в глуби лесосек.  
Прошли колхозы и совхозы,  
И это все — за бабий век!  
Они без слов всех лучше знали,  
Как Александра прожила,  
Какие вынесла печали,  
Какую ношу пронесла.  
И вот сошлись в ряду почетном  
Мать проводить в последний путь.  
Как чашей, горестным причетом  
Всю жизнь былую зачерпнуть.  
В оцепенении едином  
Они сбивались в полукруг.  
Белели смятые седины  
В обхватах тяжких темных рук.  
И, выходя с иконой древней,  
Сказав последнее «прости»,  
Склонились бабы вдоль деревни,  
Концы платков зажав в горсти.

Проселок, вязкий до суглинка,  
Тянулся, видимый окрест.  
Как будто горькая морщинка,  
По косогорам милых мест.  
И подступали к придорожью.

К печали медленных колес  
Поля с нахмуренною рожью  
И белым трепетом берез.  
А в синеве речных излучин,  
То далеки, то вновь близки,  
Кипели ветreno, плакуче  
Встревоженные ивняки.  
И плыли изгороди елок  
И голубой, как сон, ленок...  
Всю красоту земли проселок  
Связал в один живой венок.

## 8

Просила мать, когда уж меркли  
Ее мучительные дни:  
«Сынок, меня у старой церкви,  
На бережку, похорони...»  
И вот он — храм, давно разбитый.  
Как будто враг здесь проходил.  
Томится дух глухой обидой  
У прародительских могил.  
На них бурьян разруху горбит  
И безрассудством леденит.  
О, жгуч и горек в личной скорби  
Вот этот наш всеобщий стыд!

## 9

Прощай, родная! Пред тобою  
Мы на обрывистом краю.  
Тебя целуя, чуем болью,  
Как тайну тайн, и смерть свою.

Прощай! Охватывает стужей  
От стука комьев и лопат.  
Но страшный стук все глупше, глупше,  
Все звонче ласточки летят.  
Прощай! В цветах твоя могила  
У древнерусского села.  
Земля, которую любила,  
Тебя навеки обняла.

## 10

Заглянет в сны, встревожит  
совесть,  
Мелькнет в полях, как наяву.  
Она везде, куда ни тронусь,  
Она — во всем, чем я живу.  
Умом немногое изведав,  
Она в душе своей несла  
И строгость дедовских заветов,  
И древний смысл добра и зла.  
Своей и радостью, и грустью,  
И глубиной семейных уз  
Она сближала с новой Русью  
И ту, в далеких звонах, Русь.

## 11

Возьму ли серп с насечкой  
ржавой —  
Молниеносный полукруг —  
В лицо пахнет ячменным жаром  
И силой материнских рук.

Возьму ль косу с размахом  
хватким —

И мать представлю молодой,  
А на янтарной рукоятке  
Ее почувствую ладонь.  
Возьму ли утром полотенце —  
Таких узоров в мире нет!  
И обольется светом сердце,  
И это — материнский свет.

1986 год



# ДОМ БАТЮШКОВА

Николаю Иринарховичу  
Янусову

## 1

В нём свет былого сбережен.  
С фасада буквами живыми  
Звенит из пушкинских времен  
Поэта родственное имя.  
И вот сюда — спасибо, жизнь! —  
Далекой осенью впервые  
Слетелись, съехались, сошлись  
Мы, до безумья молодые.  
Еще его не зная строк  
И ничего о нем не зная,  
Кипел и в нас его восторг,  
Влекла надежда молодая.  
И та распахнутость, и та  
Неутоленность шумной новью,  
Какой и он в свои лета  
Пылал, застигнутый любовью.  
Крылечко, лестница, паркет  
И окна — все первоначально  
В нас излучало звонкий свет  
И светлой музыкой звучало.  
Знакомства с ходу, впопыхах —  
Они еще робки, случайны.  
Но в вопрошающих глазах  
Уже завязывались тайны.  
И я, не зная, почему,

Зачем туда, где бюст Поэта,  
Рванулся вдруг сквозь кутерьму  
В разлив рябинового света.  
Там, у раскрытоого окна,  
На ветерке с прохладных улиц  
Стояла девушка одна.  
Я замер. Мы переглянулись  
И разбежались. В толкотне  
И в жарком шуме коридора  
Все лица заслонило мне  
Сиянье встреченного взора.

## 2

Звонок! И в шумный класс вошел  
Медлительный преподаватель.  
Портфель невиданно большой  
Пронес он в бережном обхвате.  
Мы стихли. Поклонился он.  
Назвался, ставя нас в известность,  
Что с гимназических времен  
Ведет российскую словесность.  
Словесность! О, старинный слог  
И смысл, осознанный впервые!  
Он осветил, вознес, возжег  
Во мне дремавшие порывы.  
Учитель стар. И голос глух.  
Но возвышался перед нами  
И говорил — как думал вслух —  
Он величавыми словами.  
Смотрели мы в его глаза —  
Как в мир, до этого незримый,  
И он внушительно сказал:  
«Здесь жил поэт, в России чтимый.

Поэт с душою огневой!  
Он много вынес потрясений.  
И юный Пушкин у него,  
Да, у него учился гений!»  
Учитель вглядывался в нас  
И вдруг отвлекся на мгновенье:  
«А кто попробовал хоть раз  
Свое сложить стихотворенье?»  
Стал слышен гомон городской,  
И все смотрели друг на друга  
Кто — с любопытством, кто —  
с тоской,  
Кто — с выражением испуга.  
Не вскинул я смущенных глаз  
И замирал от испытанья,  
Но на щеках моих зажглась  
Невыдаваемая тайна.  
Учитель понял. Взгляд его  
Поверх очков задорным светом  
Коснулся сердца моего  
Как будто ласковым приветом.  
«Вот в классе «В»... Да, неплохи, —  
Он призадумался, довольный, —  
Читала девушка стихи  
Про моряка, любовь и волны...»  
Я вздрогнул: пишет и она!  
Да, да! В глазах стихи сияли.  
В просвет зеленого окна  
Смотрела, как в морские дали...

### 3

Кружился Батюшковский дом!  
В нем педучилище блистало.

Что зрело в сердце молодом —  
То и навек судьбою стало.  
Что в зоркой юности нашлось,  
Первоначально завязалось,  
То — до седых твоих волос,  
То не развязется и в старость.  
А память — сколько ни живи —  
По озорному своенравью  
Тревожит голосом любви  
И будоражит близкой явью...  
И вот я — снова молодой  
На перемене той, далекой  
Верчу кудрявой головой  
Над коридорною протокой.  
Ищу я девушку одну,  
Всех прочих взглядом оттесняю  
И шею тощую тяну,  
Зачем тяну — и сам не знаю.  
Идет, идет! Ах, как стройна,  
Красива свежестью упругой!  
Как возвышается она  
Над неприметною подругой!  
Летит, летит — хоть падай ниц  
Перед такой русоволосой!  
Но — боже! — взор из-под ресниц  
Поверх меня, смотрю, проносит.  
Догнать ее! Скорей, скорей!  
Споткнулся чуть ли не врастяжку.  
Смотрю: матросик перед ней  
Кичливо выпятил тельняшку.  
И я, краснея от стыда,  
(смешон и жалок третий лишний)  
Метнулся прочь — туда, туда,  
К окну, в стороннее затищье.  
И в ширь оконного стекла

Из облачного оперенья  
Тревожным облаком вплыла  
Моя родимая деревня.  
Братишки там и мать вдова.  
По вечерам гармошки в роще.  
Там откровеннее слова,  
Понятней жизнь и девки проще.  
И захотелось в эту жизнь.  
Но докатилось вновь до слуха:  
Мать говорила мне: «Учись!  
В колхозе, видишь сам, разруха.  
А там, в училище, паек —  
Не клевер все ж, а хлеба крошки.  
Ой, поезжай туда, сынок!  
Потом пошлю тебе картошки».  
И мне из платья своего  
Рубаху сшила голубую...  
Она не знает ничего,  
Как я с любовью здесь бедую.  
Смутился думой и решил  
Учиться так, чтоб мать гордилась.  
Но в своевольности души  
Тоска ревниво затаилась.  
Тоска любви — она со мной.  
О, тайный трепет — это лепет  
Уже поэзии самой,  
Когда душа отважно крепнет!  
А время шло. И началось  
У полусумрачных оконец  
Мое страдание до слез,  
До вдохновений, до бессонниц.  
О, как поэзия сильна!  
Лишь безраздельно ей доверься,  
В нужде, в беде она одна  
Спасает исповедью сердца.



Я приносил с базара жмых  
И грыз его, что камень черный,  
А получался светлый стих,  
Восходом утра золоченный.  
Я бегал в домик на совет,  
В котором жил словесник старый.  
«А ты, похоже что, поэт», —  
Он ободрял и знаки ставил.  
Он добрый был. И оттого  
Душой учителю внимали,  
И лишь по отчеству его  
Мы Иринарховичем звали.  
И вот однажды у окна,  
Где профиль гордого поэта,  
Со мною встретилась она,  
Та, что в стихах уже воспета.  
Она застенчива была  
И скромно, простенько одета.  
Вся — из румяного тепла,  
Вся — из порывистого света.  
Взор подняла она с таким  
Огнем, что все во мне запело.  
«А я люблю твои стихи», —  
Призналась тихо и несмело...

## 4

Белела Вологда вблизи  
В кудрявой зелени излучин  
Огромным теремом Руси —  
Резным, причудливым, певучим.  
И возносила напоказ  
То журавлиные балконы,  
То крыльца, милые для глаз,



То в кружевных венцах колонны.  
То замощенные стократ  
В домах бревенчатых угоры,  
То изразцовый блеск палат,  
То уцелевшие соборы.  
И над теплом такой красы,  
Плыяя в березовые дали,  
В Кремле высокие часы  
Колоколами закипали,  
И рядом — ты! Со мной, со мной!  
И слышно: где-то недалечко  
Катилось к нам по мостовой  
Любви заветное колечко.  
А с ним и всякий дворик люб.  
Близка черемушная заросьль,  
Где в нетерпенье с жарких губ  
Слова, что ягоды, срывались.  
Вокруг томилось буйство трав —  
И мы расплескивали травы,  
Друг к другу радостно припав,  
В себе не чувствуя управы.  
И поздно, в сумраке ночном,  
Колечко вновь, как в сказке-были,  
Катилось в Батюшковский дом,  
Где мы учились и где жили...  
Дом полуночный погружен  
В молчанье тайных пробуждений.  
В нем бродят шорохи времен  
И, может быть, живые тени.  
Но мы на цыпочках опять  
От общежитских чутких комнат  
Шмыгнули утро повстречать  
На подоконнике укромном.  
И вдруг возникли в тишине  
Шаги! В нас обмерло сознанье.

Все ближе к нам! И по стене  
Тянулось чье-то прикасанье.  
И в руки мне, как под заслон,  
Ты опрокинулась, как птица.  
Ах, Иринархович! — Он, он!  
И старику, видать, не спится.  
— Вы извините, — нас узнал, —  
Вот обхожу свою обитель.  
А здесь и Батюшков стоял,  
Здесь, у окна, где вы стоите.  
В окно повеял ветерок...  
А Иринархович с участьем  
Вздохнул: «Поэт был одинок,  
Да и в любви своей несчастлив...»  
Смутились мы от этих слов,  
И в наших лицах выражалась  
К поэту тихая любовь  
И неосознанная жалость.  
Стояли мы — глаза в глаза,  
Горели пламенем единым,  
И нам казалось, что нельзя  
Быть одиноким, нелюбимым...  
Наш друг ушел. И в тьме ночной  
Сверкнула даль полоской алой,  
Набухла розовой волной,  
В окне зарей затрепетала.  
Кресты искристые зажглись,  
И купола святой Софии  
Взметнулись в радостную высь,  
Как откровенья золотые.  
И звоны, звоны над землей,  
Над заревой, опять поплыли...  
Мы были счастливы с тобой —  
Друг друга всей душой любили.

Дом дорог памятью своей.  
 Вон перед ним зеленокосы  
 Из наших юношеских дней  
 Звенят лишь две иль три березы.  
 Лишь две иль три... А мы тогда  
 Всем курсом много их сажали.  
 И что ж? Ни корня, ни следа —  
 Лишь наши выросли печали.  
 А в том окне, где мы с тобой  
 Так были счастливы впервые,  
 Прошли бесчисленою толпой  
 Уже другие молодые.  
 Но постоянно в том окне,  
 Лишь окажусь, бывает, рядом,  
 Поэта вижу в глубине —  
 Как тень, мерцающую взглядом.  
 Он с давних, им забытых пор,  
 Парнас и ад уже познавший,  
 Все смотрит, смотрит на собор  
 И на Кремля глухие башни.  
 Что видит в них? И от кого  
 Он там, в окне, один таится?  
 Исчезло время для него —  
 Он может в миг любой явиться.  
 И вновь охватывает грусть:  
 Какой родной и одинокий!  
 Читает время наизусть  
 Его чарующие строки.  
 В них дерзость, молодости пыл,  
 Любовь и доблестные были.  
 Поэт в несчастье их забыл.  
 Но мы, потомки, не забыли.

В родном ли, в дальнем ли краю,  
Чтоб тихой радостью согреться,  
Иль глядя в молодость свою,  
Мы шепчем вновь:  
«О, память сердца!»

1987 год



Избранные Стихи  
из цикла «Вечность. Молодость»

О создании поэм  
Александра Романова



СТРАНИЦЫ  
СЕРДЦА  
МОЕГО

Поэма «Художники» написана в 1962 году, когда А.А. Романов учился в Москве на Высших литературных курсах (1960-1962 годы). В это же время там учились В.П. Астафьев, С. В. Викулов, Е.И. Носов. А в Литературном институте в это же время учились В.И. Белов и О.А. Фокина. Очень частыми были встречи и разговоры земляков с А.Я. Яшиным, также живущим в Москве. Он с большой любовью и заинтересованностью относился к литературной судьбе своих молодых земляков. Поэтому ничего удивительного не было в том, что свою поэму «Художники» Александр Романов решил посвятить уважаемому А.Я. Яшину.

А началом работы над этой поэмой можно считать стихотворение, написанное 17-18 декабря 1961 года.

Значит, было нужно, если радовали  
Юбки, опоясанные радугами,  
Сарафанов жаркая метель,  
Кружевная выдумка кокошников.  
Ничего не сохранилось, ничегошеньки  
Даже в дальних деревнях теперь.  
Девушки, смеясь, пожмут плечами,  
Парни головами покачают.  
Только старики вздохнут печально:  
Молодость им грустно вспоминать.  
Я, конечно, понимаю это.  
Труд напрасный старину искать.  
Так зачем же до сих пор поэты,  
Сотни верст в лесах исколесив,  
Из Москвы к нам рвутся каждым летом  
Как Колумбы, в поисках Руси?  
И, найдя заброшенную прялку,  
Иль фату, иль с петухами плат,  
Словно на диковины, глядят.  
Платят деньги — денег им не жалко.  
Так зачем же до сих пор на сценах  
Плясуны в рубахах с поясами,

Девушки в сапожках непременно  
Пляшут так, как в старину плясали.  
Так дробят, что жарко потолку?  
...Ты мне, критик, это растолкуй!

Чувствуется, что это стихотворение вызвано частыми спорами-разговорами с друзьями, большинство которых были родом из деревень, со столичными литературными критиками, которые не очень хорошо знали и понимали судьбу деревни.

В рабочей тетради, где записано это стихотворение, на левой стороне листа внизу запись: «Русь, как лебедь, улетела». А потом, возвратившись к законченному стихотворению, автор дописывает такие строчки, выдающие его неудовольствие, когда он смотрит такие «народные» танцы по телевизору:

В сущности, смотреть на это грустно.  
Уж давно не пахнет старой Русью.  
Словно лебедь кисти Васнецова,  
Улетела в дали — не поймать.  
И, конечно, не вернется снова.  
Это тоже надо понимать.

Казалось бы, ответ найден, но, видно, не дает покоя автору эта мысль об исчезнувшей старой Руси, потому что через полгода после написания этих черновых набросков он начинает поэму, указав точно дату начала 10 апреля 1962 года. Только на поиски настоящей Руси отправляет он не поэтов, а столичных художников. Они пытаются нарисовать красоту деревенских домов, но не могут.

Но — странное дело —  
Досадная малость:  
ЭТО не пело,  
Как ни старались.  
Лишь по холстам  
Разлетались линии,  
Как вырастали  
Курганы синие.

А на курганах  
Старое зодчество  
Дивно сверкало  
И кособочилось...

А как хотелось живописцам нарисовать это  
древнерусское зодчество!

Избы просторны.  
А под крышами  
Разно узоры  
По дереву вышиты.  
Будто б на нитки  
Сушка нанизана,  
Сушкой обвита  
Стена до карниза.  
Там погляди-ка!  
Затейливо вяжутся  
И повиликой  
Веселой кажутся  
Всюду черт знает  
На чем и лепится  
Эта резная  
Чудо-нелепица.  
Смотришь и верится:  
Вот-вот сейчас  
Красная девица  
Выйдет встречать.  
Молвит распевно,  
Улыбчиво, просто.  
Мол, заходите,  
Добрые гости.  
И, застеснявшись  
Своей красоты.

Чуть приподымет  
Кончик фаты...

Вот такого чуда и ожидали столичные гости, остановившись в доме старой тетки Мары. Она сидела перед ними в темной кофте, сложив усталые руки на коленях.

Вопросы приезжих вызвали у Мары воспоминания о молодых годах, когда «...она, Машутка, в сарафане Яблонево, розово идет» в сенокосную пору, а рядом с ней ее Степан, «...еще не муж, не слесарь, Не солдат последней мировой». Вспомнилась ей и любимая Степаном розовая кофта, по которой «пролиты искусно кружева». Он потом «с войны писал из-под огня. Всё меняй на хлеб, чего там. Лишь не трогай кофту до меня».

Художники чувствуют себя словно виноватыми в чем-то перед Марьей. Наверное, не раз передними встарьют «... словно издалёка Тетки Мары грустные глаза, Руки на коленях, как упреки».

Хотя приехавшим художникам удалось нарисовать молодую озорную Любаву, но поэма не оставляет чувства законченности. И в голосе Любавы звучит тревожное «Ждём!»

И этот голос девичий долго летал над Сухоной синей, словно перелетая в другую поэму, которую автор назовет сначала «Синие плессы», а потом «Сухона».

А законченную весной 1962 года поэму он назовет «Синие курганы». Именно под таким названием она была впервые опубликована в областной молодежной газете «Вологодский комсомолец» (16.05.1962) с посвящением А.Я. Яшину.

В сборнике «Семизвездье», выпущенном в 1963 году Вологодским книжным издательством, поэма впервые опубликована под названием «Художники». В последующие сборники стихов и поэм А. Романов эту поэму не включал, не считая ее законченной.

Но через 25 лет, готовя сборник «Русь уходит в нас» (М., Современник, 1987) включил эту поэму как начало своих раздумий о судьбе русской деревни, русской женщины.

Есть эта поэма и в самом крупном прижизненном издании автора — однотомнике «Избранное», выпущенном к 60-летию А.А. Романова (М., Современник, 1990).

Толстая рабочая тетрадь в коричневом переплете, начатая с 13 ноября 1962 года и законченная в 1964 году, вся наполнена вариантами строф к будущей поэме «Мать». Вот первое начало:

Надежды больше не осталось:  
Случилось то, чего ждала.  
И вдруг почувствовала старость,  
И села грузно у стола.  
А что, казалось бы, случилось?  
Когда взглянуть со стороны,  
То убиваться нет причины:  
За ней приехали сыны.  
Ее сыны увозят в город,  
И не в какой-нибудь: в Москву!

И дальше шесть стихотворных листов, густо исписанных черным карандашом четким Сашиным почерком, подробно о раздумьях матери перед расставанием с хозяйством, с самоваром, с соседками. И только на седьмом листке напишется:

И вот решилась. В ту минуту  
Когда сказала: «Ну, пойдем».  
Рябины дрогнули как будто  
И зашатались под окном.

Эти строки и станут началом поэмы, сколько бы ни появлялось вариантов. А вариантов отдельных строф было много, ведь писалось не просто о судьбе старой женщины, расставшейся с родным домом, с хозяйством, а все это касалось самого дорогого человека — мамы, оставшейся в войну молодой вдовой с тремя сыновьями на руках, всю жизнь работавшей в колхозе и в личном хозяйстве. В конце этой коричневой тетради есть короткая запись о поэме:

«Мать уезжает от земли потому, что устала. Как и всякий человек, покидающий свои родные места, она горюет. Это должно звучать аккордом. Гимном. Но моя мать покидает

землю, устала. потому что жизнь, условия раньше срока со-старили ее (война!, палочки-трудодни, налоги и т.д.), заста-вили ее постареть. Это должно звучать социально, мать, вы-ражая горькое сожаление и беспокойство (а кто же все-таки останется на земле?), уже начинает улавливать (деталями), что должна быть новая смена (какая?), уже грядет, уже вот она... Мать уезжает с раздумьями о земле. Мы всегда о ней думаем: человек и земля, общество и земля — вечно новые, вечно трепетные вопросы. Это все: и жизнь, и звезды».

Вот такие были замыслы автора о создании поэмы «Мать». Пи-сал он эту поэму с 13 по 30 ноября 1963 года в Вологде, потому что мама уехала в Москву к среднему сыну Павлу, а в деревне, в родном доме, сразу осиротевшем без хозяйки, было очень тоскливо.

Стучало сердце, бежали строчки... На левой странице черновые наброски, на правой начисто, но с большими со-кращениями, исправлениями. Слева в скобках: (поясок и всё!). (Потеряли мы Петряево). И среди разных строк неиз-менными оставались строки о земле.

Земля не чья-нибудь, не божья.  
Во все концы, во все края  
Она до самой дальней пожни  
Лежит немыслимо своя.  
Близка она, как день вчерашний,  
Как день грядущий, дорога...  
Молчат заснеженные пашни,  
Молчат холодные луга.  
Как будто ждут, что в оправданье  
Сегодня может им сказать  
Перед дорогой самой дальней  
Всю жизнь работавшая мать.

Очень непросто было описать горькие минуты разговора матери с землей. Варианты: «Прости, земля, меня, крестьянку», «И я теперь, земля, устала», «Скосила я свою траву, Свою я косу истощила», «Простите вы, родные пашни, Моя отрада и судьба».

«Хоть взгляд летит вперед, за поле. А сердце просится назад». Не сосчитать, кажется, этих вспыхивающих строчек-вариантов. В первом, довольно объемном варианте поэмы было подробное описание поездки в Москву, «витиеватые» разговоры сыновей, представляющих веские доводы необходимости отъезда из деревни, ожидание встречи с Москвой.

Здесь окончанье и начало  
Дорог и малых и больших.  
Скажи: кого ты не встречала,  
Москва, на площадях своих?..  
Твои слова слышны всесветно.  
И ты у каждого в судьбе.  
То за советом, то с приветом,  
То на поклон идут к тебе.  
И ты всегда добра и рада,  
И твой размах всегда велик.  
На этот раз, Москва, как надо.  
Встречай работницу земли!

.....  
Поговори с ней откровенно  
Все это можешь ты, Москва!

Так был закончен первый вариант поэмы и поставлена дата 30 ноября 1963 года, Вологда. Но это только половина. Дальше продолжение работы.

Вся поэма переписывается снова. В конце опять один из вариантов обращения к Москве, которая должна принять работницу земли. «И за все дела сказать ей спасибо... Ты так и сделаешь, Москва!» Уверенно заканчивая этот вариант поэмы в марте 1964 года, назвал его «Мать и земля».

Впервые поэма опубликована под названием «Судьба» в сборнике «Красное застолье», выпущенном в 1966 году Северо-западным книжным издательством в Архангельске, прекрасно оформленном гравюрами Н. и Г. Бурмагиных. В этом варианте очень хороший конец, где уже ни разу не вспоминается Москва, которая с благодарностью встретила бы работницу земли.

Мать, проснувшись утром в вагоне, смотрит на мелькающие поля, и они кажутся ей продолжением того, что оставила вдали.

И все знакомо, все похоже,  
Хоть здесь ни разу не была.  
И сёла — продолженье тоже  
Того, родимого села.

В конце поэмы опять светлые надежды автора, что земля дождется молодых сил...

Судьба идущих поколений  
В тревогах и заботах дней  
Не повторенье — обновленье  
Судьбы и жизни матерей!

Прошло 13 лет после первой публикации. Готовится к печати замечательный сборник «Северные поэмы» с оформлением гравюрами В. Сергеева, с белой воздушной суперобложкой, с зонтиком цветов, с остроконечными елками, отраженными в воде.

Сборник был издан в 1979 году в Архангельске Северо-западным книжным издательством. А. Романов включает в ряд с другими поэмами и поэму «Судьба», дав ей окончательно название «Мать». И этот вариант он подвергает значительному сокращению, избавляя не только от длиннот, от неудачных строф, но самое главное, от наивных надежд, что мать успокоится в Москве, что Москва поймет и поблагодарит крестьянку за ее годы труда.

Теперь поэма кончалась не вопросом, не восклицанием, а многоточием, таким горьким, таким почти безнадежным прощанием со всем, что оставила мать. Она ищет глазами старый дом, который словно говорил при расставании:

...Придете, еще придете вы ко мне.  
Куда б ни ехали, повсюду  
Средь городских домов-громад  
Я в ваши сны являться буду  
И буду звать к себе, назад.  
Я буду пахнуть сенокосом

И вениками в ваших снах.  
И петухом звонкоголосым  
Пробьюсь в фабричных голосах.  
Со мной разделаться не просто,  
Хоть низкоросл и темноват.  
Я буду виден вам за версты  
Из городских домов-громад.  
Ведь я не просто дом, а память.  
А ваша жизнь — года, года...  
Я знаю: вас еще потянет,  
Еще приедете сюда!



Вот это настолько было близко самому автору, что он во многих стихах счастлив был утверждать, что «Одно спасенье человека — В своем Отечестве свой дом», или еще: «И счастлив я, что на разломе страшном, Есть у меня в тылу, в kraю родном, Не особняк, не крепость и не башня, А златостенный деревенский дом».

Дом в поэме «Мать» не менее главный герой, чем земля. Автор решил отдельно поговорить о земле, посвятить ей целую поэму, а пока значительно сократил произведение, готовя сборник «Русь уходит в нас» (М., Современник, 1987). В таком варианте она представлена в Роман-газете (№21-22, Современная поэма, 1989). Последняя публикация поэмы — однотомник «Избранное» (М., Современник, 1990).

\* \* \*

Строки поэмы «Тревога» впервые появились в рабочей тетради 1962 года.

Это было в деревне, которой нету,  
Но в которую можно взглянуться.  
Потому что деревня эта  
Называется «Наше детство».  
Там на ветках качались яблоки,  
Как фонарики, очень маленькие.  
Там клубился вечером синим  
Бородатый дым...

И еще:

Там остались в далекой сини  
Дробный стук золотых молотилок,  
И ночевки в пахучих овинах,  
И рассказчик рыжий Вавило,  
И картошины с пылу да жару,  
Что в руках мячами летали,  
Много можно припомнить, пожалуй.

Больше в этой тетради 1962 года нет ни строчки будущей поэмы, но зато есть стихотворение «Вологодский паренек».

С той поры, пожаром объятой,  
Миновал немалый срок.  
Как ушел на войну солдатом  
Вологодский паренек.

И в бою с ордою проклятой  
Под Москвою в седых снегах  
Он и раненый встал с гранатой  
От врагов в пяти шагах.

... Много раз опадал с черемух  
Молодой и чистый цвет.  
Много лет ожидали дома,  
Только сына нет и нет.

Все поверили в боль такую,  
Но не хочет верить мать.  
Ей все кажется — сын воюет,  
Сыну некогда писать.

С той поры, пожаром объятоей,  
Миновал немалый срок.  
Все равно тебя помним свято,  
Вологодский паренек.

11 декабря 1962 года д. Петряево.

Написана поэма «Тревога» 21-27 октября 1964 года в Доме творчества писателей в Малеевке, куда А. Романов попал впервые. Вот в эту любимую осеннюю пору, когда так неспешно думается, и оформил свои грустные размышления о без вести пропавших в годы войны, о забытых даже в родных местах людях, молоденьких парнишках. Начало сохранилось то же, что и в 1962 году:

«Это было в деревне, которой нету,  
Но в которую можно взглянуть...»

Та жизнь довоенная была счастьем, пожалуй, только кто тогда это понимал! Сначала на фронт ушли мужики, а потом пришла очередь подросших юношес. Так ушел на войну сирота Васька Тихомиров.

Вариант строки: «Узкоплечий и большелобый, Уходил он, почти что мальчик...»

Как обычно, в тетради на левой стороне — варианты строк, некоторые, наиболее удачные, обведены:

«Из деревни дорога для многих...»

«Будто не было человека...

В круговерт темноты и снега...»

«Лишь потом пришло извещенье старой тетке из-под Можайска...»

«Надо, надо бы в каждой деревне поставить по камню и выбить имена погибших!»

Написана-то эта маленькая поэма ради большой и вечной мысли: нельзя забывать тех, кто погиб в битве с врагами, защищая родную землю и живущих на ней людей.

На левой стороне листа конец поэмы звучит так:

...Умирают солдаты дважды.  
Первый раз на поле сраженья  
От штыка или пули вражьей.  
И спустя много лет от забвенья.  
Так ли это, не так ли — спорьте,  
Только время неумолимо.  
Уже многие надписи стерты  
И размыты дождем на могилах.  
Слезы сохнут, боли стихают,  
Если небо чисто и ясно.  
И встревожилось сердце стихами  
О тебе, Тихомиров Вася!

Еще есть небольшой вариант конца,озвученный с названием «Тревога»:

Только сердце не примирится  
И не будет с этим согласно.  
Вей, тревога, на эти страницы.  
Встань в стихах, Тихомиров Вася...

А вот окончательный вариант конца поэмы:

Вот с приятелем мы в деревне,  
Вспоминаем давнее время.  
Вдруг заминка, и слышу с болью:  
«Тихомиров? Васька? Не помню...»  
Умирают солдаты дважды:  
От штыка или пули вражьей  
И спустя много лет, в грядущем  
От забывчивости живущих.  
Только сердце не примирится  
И не будет с этим согласно.

Мне которую ночь не спится.  
Встань в стихах, Тихомиров Вася!

Вот передо мною листок бумаги, сложенный вчетверо, с надписью «Поэту». Значит, написано оно во время встречи с читателями, где прозвучало это стихотворение. Радиожурналист Михаил Воробьев (из Ленинграда) пишет: «В январе 1943 года я десятиклассником (во время зимних каникул) уходил из Щуцкого, как Ваш Васька Тихомиров, с котомкой на войну. Слушал Вас, и казалось, что это стихи про меня, 17-ти летнего – нас 35 междуреченских парней шли пешком до Вологды. На всю жизнь запомнилось, как провожали нас бабы и девчонки. Хлеба не было, совали тоже махорку. И, как у Вашего героя, не было у меня ни отца, ни матери. Мало нас вернулось из того пекла...»

Стихотворение «Тревога» прозвучало по всесоюзному радио 16 февраля 1980 года среди других, с которыми выступал А.А. Романов в «Поэтической тетради». Была такая замечательная передача на радио. Пришло много хороших взволнованных отзывов, некоторые переслали автору в Вологду. В ответ он послал свои сборники. Среди слушательниц была и Маргарита Павловна Полежаева из города Сочи, уроженка Верховажского района. Получив сборник «Чтоб стать собой» (Библиотечка подростка), она пишет:

«Впечатление такое, будто дома побывала. Слова-то какие: божатка, осока, копна, просек. И люди остались в памяти гостеприимные, открытые, приветливые. Особенно меня взволновала Ваша поэма «Тревога» и эти вот строчки:

Умирают солдаты дважды: От штыка или пули вражьей  
И спустя много лет в грядущем От забывчивости живущих».

Так заканчивается письмо, а я в который раз с горечью думаю, сколько воинов погибло во второй раз от нашей беспамятности. Ведь это мы их убили своей забывчивостью. Вот к какой ответственности взывали эти строки: «Встань в стихах, Тихомиров Вася!»

Эта поэма была очень дорога автору, он сам считал ее удачной и много-много раз читал перед слушателями.

Впервые она была опубликована в областной газете «Красный Север» 19 декабря 1964 года (40 лет назад!) под названием «Это было в деревне...» Опубликовал ее и журнал «На рубеже» (впоследствии «Север») в первом номере за 1965 год и сборнике «Поэзия Севера» в 1966 году. Она помещена в авторских сборниках «Красное застолье» (1966 год), «Посвящение в родню» (М., Советский писатель, 1967), «Чтоб стать собой» (Библиотека подростка. Архангельск. СЗКИ, 1981), «Русь уходит в нас» (М., Современник, 1987), «Избранное» (М., Современник, 1991). В сборнике «Была война» (М. 1987) (четыре главы из книги, написанной поэтами послевоенных лет).

Вошла эта поэма и в сборник стихов «Сторожевой луч», вышедший в Вологде, уже после смерти автора, в рубрике «Память сердца». К 60-летию Великой победы эта поэма выйдет в сборнике «Свет Победы» в 2005 году.

Пусть эта «Тревога» и дальше тревожит сердца людей, не давая забыть погибших в годы Великой Отечественной войны.

Сидеть не могу. Лежу расстроюсь.  
Недвижна, лишь над головой.  
А в глубинах сознания — счастье,  
Мне будто луна сторожевый.  
Откуда он? В окнах звезды.  
Их блеск тревожен и могут,  
Но в этот час, звуков и поздний,  
нет, не от них щемящий лул.  
Он живет. Он — это открытие.  
Он проскакает только лет.  
И тем обиднее забвение,  
Тем скрупульнее свет.  
Из рваной памяти, из блеска,  
Из мысли ошибочных ворог,  
Из дел, которых не исполнил,  
Из слов, каких сказать не смог,  
Из полуокраин, ставней в горсть,  
Из встреч, расстечкинных чуже,  
Всегдающая собесть.  
Как энзин. Себе, горит в душе.

Первоначально эта маленькая поэма называлась «Синие плёсы». Писалась она удивительно быстро. В рабочей тетради стоит дата 24-29 августа 1966 год, Петряево.

Конечно, эта поэма вызвана воспоминаниями о неоднократных поездках по Сухоне: из Вологды домой до пристани Устье Двиницы, а потом пешком по болоту, по берегу реки Двиницы в родную деревню Петряево. Часто ездили группой писателей и в Тотьму, и в Великий Устюг. Выходили на пристанях, где их уже ждали, выступали в сельских клубах, в леспромхозах.

Первая строчка звучала так: «На палубе думы везет теплоход». Подчеркнута и даже знак восклицательный поставлен. Но в поэму эта строчка не вошла.

Еще несколько вариантов начала подбирал поэт: «Сквозь синие думы плывет теплоход»... Сначала поэма не была разделена на маленькие главки, но они чувствовались и по содержанию, и по оформлению, особенно, когда подбирались концовки.

А Сухона волны бросает внахлест  
И катится дальше в мерцании звезд.

А Сухона в борт ударяет стальной  
И ухаст, бухает белой волной

А Сухона льется, свежа и прямая  
И ельники кажет, как терема.

А Сухона в борт ударяет стальной  
Вновь пенится вслух она белой волной.

А Сухона вьет берега впопыхах.  
Один – в соловьях, другой – в петухах.

А Сухона льется уже в небеса,  
Как будто курганы, темнеют леса.

Не раз менялись слова для описания увиденной церкви.

Вдали проступает из дрёмы лесной  
Церквушка печальной своей белизной.

Железо на крыше упрёком дрожит  
Тем самым, кто путал, где бог, где мужик.

Другой вариант:

Из омутов синих, из дремы лесной  
Вдруг церковь печальной сверкнет белизной.

Окончательный вариант:

Вон выплыла церковь, как чайка, бела.  
А избы по взгорью – два легких крыла.

И опять начинается поиск слов, чтобы выразить впечатление от чуда – видение Устюга Великого:

Из дрёмы лесной, из медлительных вод  
Из белого камня град Устюг встает.

Из омутов диких, из дремы лесной  
Град Устюг Великий резнул белизной.

Взята в квадратные скобки строка: [Вдруг Устюг Великий сверкнул белизной]. А в окончательном варианте все гораздо проще, чего и добивается автор:

Еще поворот да еще поворот,  
И город из белого камня встает.  
В закате кресты изжигая дотла,  
Торжественно блещут над ним купола.

Так, шесть счастливых дней августа (24-29) 1966 года в родной деревне Петряево создавалась эта песнь о Сухоне, за-канчиваясь торжественными словами:

Мы с кручи глядим. А под нами река  
Летит, как истории русской строки.

Скорее всего, впервые это произведение было опубликовано в областной газете «Красный Север» (14.09.66) под названием «Синь-глубина». А под окончательным названием «Сухона» напечатана в сборнике «Избранное» (Архангельск, СЗКИ, 1969). В 1987 году – в сборнике «Русь уходит в нас» (М., Современник). Затем в «Избранном» (М., Современник, 1990).



Поэма «Земля» писалась с 24.05.66 года по 30.12.69 года. Начата поэма, конечно, в Петряеве. Где еще могла рождаться она, эта «автобиографическая поэма», как написано на черновой, левой странице тетради. Названия ей пока еще не придумано. И дальше так же: на левой стороне раздумья, строчки, а на правой каждый день готовый кусочек поэмы и даты – 25.05.66, 26.05.66, 28.05.66...

И так до самого августа, а потом большой перерыв: записи, стихи. И вдруг и на левой и на правой странице – «Синие плёсы» – это началась работа над маленькой поэмой «Сухона».

(«На палубе думы везет теплоход»). Писалась она с 24 по 29 августа 1966 года в Петряеве.

Продолжил работу над поэмой «Земля», назвав ее «Грозная тропа», «Тропа к сердцу» и даже почему-то «Дом Ильича». Вот теперь становится ясно, почему поэму поэт назвал «автобиографической».

На левой стороне листа несколько стихотворных вариантов эпиграфа:

Зачем далёко ездить,  
Героев искать.  
В моей родне – поэзия  
Эпохе подстать.  
И в речку родословной,  
Что темно-зелена,  
Я всматриваюсь, словно  
В тебя, моя страна.  
И ничего-то мне бы  
И не увидеть там,

Когда б на стрежне не был  
У этой речки сам.

Первые главы переписывает почти без изменений, но уже выделяется главный вопрос, который не давал покоя родному деду, решившему ехать в Питер на заработки.

А деревням и счету нет –  
Уж сколько за спиной!  
Дивился простодушно дед  
Огромности земной.  
И думал: Русь-то велика –  
Найдешь ли край вдали –  
Но почему ж для мужика  
Так мало в ней земли?..

6-7.04.68 год. Петряево

И снова, снова перерабатывает... Очень интересными остаются заметки на левой стороне листа. «Дивно было деду: никто не спрашивал его, землепашца, что он сам думает? За него отдумали. А почему? Он, что – дурак?! (Может быть, это поставить в конце поэмы?) И тут же: «Сколько их взялось (нашлось) говорунов чужих? Сроду не живавших в деревне. Зачем это они? – ломал голову дед».

И даже задуманный образ Ленина как народного заступника звучит не очень радостно.

Дед оглядел своих дружков.  
– Скажите, кто он тут?  
– А он за бедных мужиков.  
Ульяновым зовут.  
А дед в душе-то не хотел  
Считаться бедняком.  
Пусть пашни был всего надел,  
Он думал о другом.  
Он думал: над своей нуждой  
Он сам одержит верх.  
А землю брать с такой враждой

Ему казалось – грех.  
И от приятелей своих,  
И от того, о ком  
Шла речь, повеяло на миг  
Жестоким холодком.

08.04.68, Петряево.

На левом листке опять заметки, как в деревне после революции делили землю по едокам. «Раньше давали только на мужские души, а тут мужики кричали: «Ну, бабы, дождались!» Нарезали землю саженным батогом, около 2 м. Вся деревня в поле. Приехал землемер из Совета. Старики выбирали землю. Все решали по справедливости. Если возникал спор – бросали жребий. Бабы полущаются сокрушались: «Что б народить по ребенку в каждое окошко – не догадались! Земли-то эвон сколько!»

А Санко Сахарёнок бегал домой во время нарезки, чтоб узнать, не родила ли Анна: «Давай, давай, скорей!»

Начали вместе сеять клевера, льны. После гражданской войны и до коллективизации – золотое, считают старики, десятилетие было».

Вот теперь поэма названа «Земля». Убран первый эпиграф, а начиналась поэма такими словами:

Плакаты, будто вихри,  
Годами на виду.  
Я громкий смысл на тихий  
Возьму переведу.  
И сразу сердце гулко  
Забьется у меня:  
За каждой красной буквой  
Встает моя родня.  
И в судьбы родословной,  
Которые видны,  
Я всматриваюсь, словно  
В историю страны.

Даже при переработке поэма шла очень трудно, это опять видно по записям на левой стороне тетради. Не вместились

в поэму все мысли о земле, еще много раз поэт будет возвращаться к этой теме в отдельных стихотворениях: («Земля отцов и дедов», «Голос деда»), поэмах («Черный хлеб», «Поземка», «Пластиы»), очерках («Земля», «Земля. Чья она?»)

Закончена поэма, судя по записям в рабочей тетради, – 30.12.69 года.

Впервые была опубликована в областной газете «Красный Север» (08.02.1970), в этом же году в журнале «Север» №4 (Петрозаводск). «День поэзии Севера» (Петрозаводск) опубликовал несколько отрывков из поэмы. Выходила поэма «Земля» и в отдельных сборниках стихотворений и поэм А.А. Романова: «Поземка» (Вологда, СЗКИ, 1972); «Черный хлеб» (М., Молодая гвардия, 1975); «Северные поэмы» (Архангельск, СЗКИ, 1979).

\* \* \*

В период с 9 по 19 августа 1968 года в Петряеве было написано стихотворение «Первая любовь», которое потом стало первой частью поэмы «Северяновна». Это стихотворение было помещено в сборник «Избранное» (Архангельск, 1969). Все, что описано в стихотворении, происходило на самом деле в мае 1952 года, когда Саша приезжал на майские праздники в Филисово, где я работала в школе. А вот во второй части больше авторского воображения, чем документальной точности. Затем и жанр такой выбран – поэма. Здесь и достоверные воспоминания о моих рассказах о довоенном житье под Ленинградом, о блокадных очередях, о дороге по Ладоге. Но здесь и вымышенный подробный разговор с матушкой, ее наказы. Эта вторая часть написана 13-17 ноября 1968 года, тоже в Петряеве.



А уж в третьей части (тот же ноябрь, Петряево) воображение автора уносит его в такие выси, в такую седую глубину веков, что временами начинает казаться, что и впрямь видала я этих новгородских молодцев, у которых «...в глазах – полнеба! В бородах – ветра». А уж какие жены были у этих новгородских богатырей!

Веял жар застенчивый  
В женах молодых.  
Свет летел на плечи  
От волос льняных.  
Этот жар не слабнул,  
Этот свет не мерк  
С добротой, достоинством,  
С верностью навек.  
И они рожали  
Молодо детей –  
Золотое крыльышко  
Красоты своей.

Вот зачем везет герой свою молодую жену – показать ей Родину, «Заволочье синее», чтобы она почувствовала дальнее родство. Нашлось в третьей части поэмы место и для восхищения Ферапонтовом, где «Сквозь столетия лики светятся огнем», а на одном «Взгляд и мудр, и прям. Будто Дионисий это смотрит сам». А появившаяся на горизонте Вологда вообще кажется чудом.

Это что? Не сказка ли  
Ткется между мачт?  
Это лебедино  
Ткется к ряду ряд  
Заволочья дивного  
Первостольный град.  
На плечах – узорочье.  
На поясе – вязь.  
Зелено и солнечно  
Он встречает нас.

А дальше – из сказки в быль. В черновом варианте конец звучал так:

И летим мы мимо  
Домиков в резьбе  
С площади старинной  
В комнату к себе.  
Комната – не терем  
Что ж, и я – не князь.  
Будет – оба верим –  
Хорошо у нас.  
Ведь в окошке любом  
Плавает солнце.  
Была бы любовь –  
Счастье найдется.

Итак, с 9 августа по 24 ноября 1968 года в родной избе писал эту светлую поэму счастливый человек, у которого была жена, три сына, мама жила в деревне, где всегда так хорошо работалось.

Впервые поэма «Северяновна» была опубликована в «Красном Севере» (28.01.1969). В этом же году ее опубликовал журнал «Огонек», № 43.

В дальнейшем она публиковалась в сборниках «Поземка» (Сев.Зап. кн. изд-во, 1972); «Радуги дней» (М., «Современник», 1973); «Пятистенок» (М., «Советская Россия», 1978); «Северные поэмы» (Архангельск, 1979); «Дни прозрения» (М., «Молодая гвардия», 1985); «Избранное» (М., «Современник», 1990); «Вологда моя светловолосая» (Вологда, «Вестник», 1996).

По тому, как часто включал автор эту поэму в свои сборники, видно, что она ему нравилась, что он считал ее удавшейся. Я помню, как великолепно читал первую часть поэмы со сцены вологодского ТЮЗа в день своего рождения Леонид Сергеевич Державин.

Но вот однажды автору пришлось защищать свою любимую «Северяновну». 20 ноября 1969 года из редакции «Огонька» пришло письмо, в котором просили дать ответ

читателю, слесарю завода «Компрессор» В. Бережному. Тот писал: «Два раза прочитал поэму «Северяновна», но так и не понял, что к чему. Впечатление такое, что будто перебираешь кристаллы, красивые, насыпанные в тарелку, но ни на что не нанизанные, ни во что определенное не вылитые, перебираешь их, любуешься, а что с ними делать, не знаешь. Где это происходит – тоже не понял, ибо в россыпь же упоминается здесь и Нева, и Ладога, и Новгород, и Вологда, и Ферапонтово, и Кубену-река. А зачем автор прыгает из одного города в другой – не-понятно. Что за здание в конце поэмы нарисовано – церковь? Крепость? Помещичий дом? Тюрьма? В тексте об этом здании ни слова».

Вот на такое письмо пришлось отвечать автору.

«Невозможное дело – лирическую поэзию без ущерба для нее объяснить прозой. Лирика адресуется сердцу человека. Она призвана затронуть его чувства, возбудить в нем свое пережитое, похожее на то, что испытывает и поэт, и таким образом вызвать соучастие. Чтобы воздействовать на сердце, необходимо емкое, точное и многоцветное слово. Ваши слова, что Вы читали поэму, как будто «перебирали кристаллы», меня как автора не огорчили, а обрадовали. Огорчило лишь то, что Вы не поняли, зачем они, эти «кристаллы».

Терпеливо и долго, на четырех страницах автор пытается объяснить читателю свою манеру письма:

«Если бы Вам удалось побывать у нас, на Севере, где еще больше, чем где-либо в России сохранился глубинный национальный облик (и в деревянном зодчестве, и в старинных ремеслах, и в семейном укладе, особенно в разговорной речи, Вы бы сразу поняли меня.

Здесь молвят слово – уже картина, скажут два – уже поговорка. Возможно, мне не удалось точно передать свои мысли и чувства, но я стремился выразить чувство любви, причем самое первое, самое памятное, сильное, любви к своей Родине. Рассказывал я о том, как лирический герой шел за Кубену-реку к своей любимой девушке, которая родом из-под Ленинграда, с Ладоги, и была привезена сюда, на Север из

тяжкой ленинградской блокады. Такая сюжетная канва давала возможность мне, как автору поэмы, рассказать о прошлом и настоящем родного края, о слитности эпох, о верности родной земле, ее традициям, о человеческой любви, которая немыслима без любви к Родине».

Вот так автор пытался разъяснить свои мысли и как бы «защитить» любимую поэму. Это тем более было не так уж трудно сделать, получая очень хорошие отзывы об этой поэме. Редакция журнала «Огонек» вместе с письмом непонятливого читателя прислала и другое, от Смирновой Нины из г. Калинина Волгоградской области, которую поэма тронула «до глубины души»:

«Я ее несколько раз перечитываю, и чем больше читаю, тем она для меня роднее и от слова до слова своя – так как я северянка. Спасибо Вам женское простое, наше северное, русское, спасибо за Северяновых, за Васильевных. Спасибо Вам!!! Поверьте, Вы не зря пишете такие поэмы».

А вот еще письмо из далекого 1969 года. В письме на адрес редакции газеты «Красный Север» всего четыре строчки, но в отделе писем, наверное, были очень чуткие люди, потому что отправляют его в другом конверте в отделение союза писателей, понимая, что автору будет очень приятно прочесть такое: «Дорогие товарищи! Эта «Северяновна» Ал. Ал. Романова – просто прелесть! Передайте ей мою благодарность. С уважением, Р. Ломтева, доярка к-за «Заря» Шекснинского р-на».

Она и правда прелестна, эта поэма, наполненная весенней свежестью, солнечным светом, треском льдин на Кубене. А мне вспоминается совсем далекий 1952 год, когда Саша на 1 мая приезжал в Филисово, где я работала в школе после окончания учительского института, а он заканчивал педагогический. Как он перебирался через реку ко мне – это описано в поэме. А вот как он перебирался обратно, об этом знаю только я и один из моих учеников, живущих на самом берегу. Он дал Саше отцовские сапоги, и они стали перепрыгивать со льдины на льдину. Сказать честно, не знаю, за кого я больше волновалась... Но вскоре мальчишка благополучно прыгал обратно, и я уже могла махать рукой Саше, который долго не уходил с того берега...

\* \* \*

Большое стихотворение (маленькая поэма?) «Позёмка» написано 24-27 марта 1971 года в Доме творчества Переделкино. Посвящено оно одному из самых близких друзей – поэту Виктору Коротаеву. Он был гораздо моложе Саши, но у них было так много общего. Оба они родом из деревень Сокольского района, оба страстно любили свою многострадальную родину, оба хотели понять ее прошлое и будущее. Об этом и были их частые откровенные разговоры. С кем же еще было поделиться своими раздумьями, которые занесли автора в такие глубины воображения, что началась сказка. Чего не придет в голову поэта, когда вокруг метель!

От скрипа и звона  
В седой полумгле  
Давнишнее снова  
Мерещится мне.

Таковы первые строчки чернового варианта. Их будет несколько, чтобы потом в чистовике зазвучать так:

И чистые звонь  
Морозной струны  
Зовут меня снова  
В снега старины.

И зовут так властно, что автор окажется возле старого дома, увидит, как «пчелою рыжей фонарь плывет», услышит «и шорох сена, и визг дровней». Он входит в дом и видит своих прадедов Романа и Ивана. «Я их знаю, они меня – нет». Он внимательно вглядывается в их обличья, которые «Крепки и красивы в своей простоте». «А взгляд простодушен, даже свят. Лето пастушье таит взгляд». Не очень-то поверили мужики своему правнуку, но все-таки задали ему самый волнующий вопрос:

Чудно как! Послушай,  
Скажи-ко нам:

А сколько на душу  
Земли-то там?

Конечно, они не поверили ответу правнука, что «... много полей, Но собственных нет». С замиранием сердца он чувствует такую близкую связь с этой избой, с мужиками:

Лучина тусклая  
Светит нам.  
Хожу, замирая,  
В старой избе.  
Душа родная  
Во всём, везде.

В черновом варианте в этих строках почему-то подчеркнуты слова: избе, везде.

И длится молчанье,  
И сам я затих,  
Но тут замечаю,  
Что выдумал их.  
Что с этой избою  
Я сказку творю  
И сам я с собою  
За них говорю.  
То дальше, то ближе  
Двигаю свет.  
Я их вижу,  
Они меня – нет.  
Как тайна, как чудо  
Текут года:  
Видно – откуда,  
Не видно – куда...



Даже в такой выдуманной сказке те же важные для автора вопросы о родовых корнях, о земле, о пути России.

Вот ведь что навеяла поземка, которая вихрилась у ворот.

И жёсткой солью  
Струится снег

От поля к полю  
Из века в век...

Впервые «Позёмка» была опубликована в газете «Красный Север» (30.04.71), потом в отдельном сборнике «Позёмка» (Вологда, СЗКИ, 1972).

\* \* \*

Над поэмой «Черный хлеб» А. Романов работал в Петряеве, в доме своего дяди Романова Василия Александровича с 17 по 30 января 1972 года, а заканчивал поэму в Вологде и в доме творчества в Малеевке с 4 по 24 апреля 1972 года.

Первоначально поэма называлась так: «Черный хлеб (Спасибо!)». Потом второе название зачеркнуто, но благодарность «деревянной России» пронизывает всю поэму. А самым первым толчком к созданию поэмы можно считать маленькое стихотворение «Поклон», написанное 20 февраля 1968 года.

Спасибо, пенсионная деревня,  
За колыбель, науку, хлеб и соль!  
Гудит свежак! И лишь на снимках время  
Застыло грозовою полосой.

Мы помним всё, хоть были небольшими.  
Ты собрала остатки со стола  
И сухарей в дорогу насышила,  
И отчество напутственно дала!

До росстани, где жаркая рябина  
Пылает петушиным гребешком,  
Нас на машины грустно проводила  
И, помахав, сама пошла пешком.

Над ветрами зелеными проселков  
Теперь горит спокойная звезда.  
– Твое здоровье! – говорят поселки.  
– Поклон тебе! – им вторят города.

В поэме «Черный хлеб» основное чувство этого стихотворения перерастает в благодарную, величественную песнь о русских деревнях – «родовых гнездах» для многих людей. И эта заключительная глава будет называться «Спасибо!»

Поэма композиционно построена в виде беседы автора с хозяином дома. Правда, беседы-то и нет, автор – только благодарный слушатель бывалого человека, «вековечного крестьянина», бывшего фронтовика, солдата двух войн. Вот он и рассказывает, как теперь живется в пенсионной деревне.

Старый ум покуда ясен  
Память старая жива.  
Не соврет, не приукрасит.  
Только высветит слова.

С его рассуждениями о земле, о вине, о пенсии, о женитьбе, о войне и смерти автор полностью согласен, ему, кажется, и сказать нечего. Он ловит каждое слово рассказчика, себе же оставляет очень важное размышление о силе деревенского родства. Эти размышления о родстве и стали первой главой поэмы, хотя часто печатались отдельно под названием «Колесо родства».

Но в рабочей тетради за январь 1972 года размышления о силе крестьянского родства имели продолжение. И эти размышления гораздо глубже и трагичнее.

Сколько слов-то! Непременно  
Все они, как естество.  
Вплоть до третьего колена  
В жизни правило родство.

.....  
И какая б в жизни встрыска  
Ни случалась, все ж росла  
Кольцевая опояска  
В ширину и в глубь родства.  
Как листву взметают корни,  
Там и там, от нас вдали,  
Властно правил голос крови.

Зов работницы земли.  
Отдавали девок сходу  
Хоть за голый батожок,  
Но рачительного роду  
И на хлебный бережок.  
И, чего бы ни случилось,  
Знали: выручит в нужде.  
Колесо родства катилось  
По глубокой борозде...  
Эти годы в дымке синей,  
Лишь порой в родных местах  
Вдруг припомнить: где же ныне  
Колесо того родства?  
А оно, попав под выброс,  
Выбилось из борозды  
И, ломаясь, покатилось  
Мимо поля и избы.  
С горьким звоном, тяжким скрипом  
Укатилось в темноту.  
Только след оставя скрытный,  
Как во времени черту.  
Независимые боле  
От причастности к избе,  
От привязанности к полю,  
От забот в его судьбе.  
От обязанности сладкой  
Землепашского труда.  
От обычаев – порядков,  
От ушедших навсегда.  
От всего, чем деды жили,  
Независимыми став,  
Кое-кто из нас забыли  
Нерушимый круг родства.

Эти тревожные и горькие раздумья не вошли тогда почему-то в первую главу поэмы, а появились более чем через

20 лет в стихотворении «Раздумье» (Над романом В.И. Белова «Год великого перелома»). Это стихотворение было впервые напечатано в «Сокольской правде» 9 сентября 1995 года.

А сама поэма «Черный хлеб» вообще появилась в печати без первой главы по совету С.В. Викулова, который предложил автору начать поэму со слов: «Черный хлеб с печного пода. Он не просто лишь ломоть».

Впервые поэма была напечатана в газете «Вологодский комсомолец» 7 июня 1972 года. В домашнем архиве хранится этот номер газеты, выпущенной ко дню рождения А.С. Пушкина. Небольшая колонка «Пушкин – это чудо» за подписью В.А. Гроссмана и на двух полосах поэма «Черный хлеб». Есть в архиве и другой экземпляр – машинописный, который автор отдавал в «Красный Север». На нем приписка автора: «Это первоначальный вариант поэмы, предложенный в газету «Красный Север», но не напечатанный в силу тех редакционных пометок, с которыми я не согласился, взял обратно и предложил журналу «Наш современник», где она и была опубликована в 11 номере за 1972 год».

В дальнейшем поэма печаталась в отдельных сборниках произведений: «Черный хлеб» (М. Молодая гвардия, 1975), «Северные поэмы» (Архангельск, 1979), «Дни прозрения» (М. Молодая гвардия, 1985), «Избранное» (М. Современник, 1990).

Писатель Юрий Галкин пишет о поэме «Черный хлеб»: «Это было лучшее, что я читал за последнее время в поэзии. В твоей поэме мне особенно понравилась поэтическая естественность монолога, верность и точность образа главного героя. А ты, как автор, не выскакиваешь вперед его. Это сейчас редкость в литературе. Всякий прозаик или поэт норовит выскочить вперед героя, показать свое умение говорить. Ты же дал себе укорот, а старику – волю. Ты не мельтешишь между стариком и читателем, не толкуешь за него. Хорошая поэма. Желаю тебе еще таких же».

Хорошавин Леонид Николаевич пишет из города Нальчика: «Вот ведь как нас судьба с людьми сближает. Просматривал газеты и нашел в «Литературной России» страницы Ваших

воспоминаний. И захотелось мне низко-пренизко поклониться Вам. Еще с книги «Черный хлеб» я почуял в Вас близкое и привязался к Вам. Где только ни увижу книгу А. Романова, так сразу в руки, и уж попробуй кто-нибудь лишить меня этого

богатства. Слово «божатка» нашел в словаре. И вот, читая «Божатку Манефу», я словно побывал вместе с Вами в Петряеве. А маленькие рассказы Ваши – «мелочи жизни»? Мелочи? Извините, никакие это не мелочи. Это сам дух, сама Родина, сам черный хлеб нашей жизни».

Именно работая над поэмой «Черный хлеб», автор впервые формулирует мысль о достоинствах этого жанра: «Поэма давала мне возможность насладиться раздумьями о жизни» – запись в рабочей тетради, январь 1972.



• • •

Рабочая тетрадь с поэмой «Пласти» начинается с такого совета автора самому себе:

На густом замесе должны быть строчки  
От начальной буквы до последней точки.

Видно, был такой хороший настрой на поэтическое дело. Да и обстоятельства этому способствовали. Начал поэму, как обычно, в Петряеве, немножко поработал в Вологде, а закон-

чил в Доме творчества писателей в Малеевке. По окончании работы записал: «Над поэмой работал с 22 сентября по 15 октября 1973 года. 900 строк».

Писалась поэма в любимую пору поэтического труда – осенью, а с первых же строк поражает весенней свежестью, энергией.

Простор открыт. Грачи кричат: пора!  
Оранжево горя, проходит трактор,  
И сотрясает косогор с утра,  
Как будто прощивает черной дратвой.

Над всей землей плывет торжественное «эр»! Работа тракториста вызывает у автора восторг и уважение.

Работа эта – корень жизни всей  
Стара, как мир, извечная работа:  
Паши и сей. Всегда паши и сей.  
Первой всех дел паши и сей до пота.

Восхищенный работой тракториста, автор и сам хочет скорее приняться за свою работу. На левой стороне листа есть строчки, не вошедшие в поэму, но очень нужные для объяснения труда писателя.

Бросай, бросай – покуда не ослаб –  
Зерно и мысль для поколений новых.  
Кто не творит добра – тот жалкий раб,  
Существованья своего земного.

Не случайно поэма названа «Пласти». Это не только пласти вспаханной земли – это пласти жизни. А они очень разные и по глубине, и по широте картин, и, конечно, по настроению, которое меняется почти с каждой главой.

Только что были картины радостного труда земледельца, а следующая глава приводит на сельское кладбище, где могила «вечевного крестьянина – Пахаря, Солдата, Мужика великого».

В другой главе будут воспоминания детства, когда в деревне появился первый тракторист Мишка:

Свистал в два пальца: Эй, поберегись!  
Я не ручаюсь – это первый опыт.

Одолел Мишка этого железного коня, а вскоре ушел на войну, стал танкистом и погиб в бою. А за рулем его трактора деревня увидела его младшую сестренку. Конечно, это было нужно, но стоит прочесть эти строчки, как сжимается сердце.

И горький дым поплыл на красоту,  
И копоть затуманила обличье,  
И жаркий ветер жёг невмоготу –  
Так и сгорела молодость девичья.

Поэма большая, в ней много пластов радости и горя, много героев со своими характерами.

В конце поэмы в полусне-видении они пройдут перед автором: и умерший старик, и Мишка-танкист, и Ваня Хмара с пингвиненком и неисполнимой просьбой: «Отправь домой!» А бесстрашный тракторист Быстров, –

Врубаясь в лед смертельно гладкий,  
Встает у мира на краю,  
Кричит: Иди, открыл я полюс!  
И ставит он над всей землей,  
Что красный флаг огромный колос.  
Огромный колос золотой.

Интересно шли поиски названия поэмы. В тетради за 1973 год записано: «Пятистенок», а рядом со знаком вопроса «Пласты» (?). И тут же на левой стороне листка: «Корень жизни» (поэма). Вот под таким названием она и печаталась.

В газете «Красный Север» от 23.11.73 – «Пятистенок». В журнале «Наш современник» №5 за 1974 год – «Корень жизни». И только в сборнике «Пласты» (Вологда, СЗКИ, 1976) поэма окончательно названа «Пласты».

\* \* \*

Над поэмой «Очевидец» А. Романов работал с 20 октября по 18 ноября 1975 года в Вологде и в Доме творчества Переделкино, хотя начата поэма в апреле 1975 года в родной деревне Петряево.

Приближалась тридцатая годовщина Победы в Великой Отечественной войне, и, конечно, в семье часто вспоминали погибшего отца. Все еще не была найдена могила, где он похоронен. Я не знаю точно, какой случай свел Сашу с предполагаемым очевидцем гибели его отца. С каким трепетным чувством отправляется сын на встречу с человеком, чьи руки «касались в последний раз отца». Он торопится, чтобы не опоздать, не упустить бы время: «Ведь старые солдаты – неровен час – сдают...»

На левой стороне листа запись, обведенная овалом, над ним поставлен восклицательный знак: «Он знает что-то такое, чего мне вовек не узнать!» Слушая старого солдата, сын погибшего командира взвода просит рассказывать подробности фронтовой жизни, хотя понимает, как это трудно.

Да, знать, горел он горя  
От горя и обид,  
Что вспомнит лишь – и в горле  
Вновь горестью палит.  
Чрез столько лет! Всё знайно,  
Лишь двинься к рубежу.  
Глядит на мёртвых воин,  
Я на него гляжу.

И старый воин – пехотинец делится горькими воспоминаниями:

Всего страшнее небо  
Солдату на войне.  
Ползёшь – укрыться где бы?  
А небо – на спине.

После одного из страшных боев полег почти весь взвод, почти все оказались похороненными в песке да глине, а над

ними корни деревьев «чернее пауков». И хотя в беседе выясняется, что погибший командир взвода не был отцом поэта, но ведь он был чьим-то отцом, сыном, братом! Кому-то успел он написать: «Здравствуйте, родные».

Самое главное чувство, которое оставляет поэма, выражено в словах:

...жить и вечно помнить,  
Как надо встретить смерть.  
И боль, и страх приемля,  
И всё, чему уж быть,  
Но пуще жизни землю  
Родимую любить!

Впервые поэмы «Очевидец» была опубликована в газете «Красный Север» (16.11.75), затем в сборнике «Северные поэмы» (Архангельск, СЗКИ, 1979) и в «Избранном» (М., Современник, 1990)

\* \* \*

Над поэмой «Павла» А. Романов работал дольше, чем над всеми другими поэмами. Он мог часами беседовать с деревенскими женщинами, восхищаясь их мудростью, трудолюбием, терпением. Образ Павлы в поэме обобщает эти черты, хотя в основе поэмы были разговоры и встречи с несколькими соседками, которых звали Павлами. С одной соседкой Павлой мама всю войну держала одну корову на двоих, и Саша много раз с благодарностью вспоминал, как соседка часто больше молока оставляла его матери, жалея ее голодных детей. Другая соседка – Павла Арсентьевна была очень разговорчивой, остроумной, помнила много стихов из детских лет и любила их читать вслух. Да и еще были Павлы в деревне, перед которыми поэт считал себя словно виноватым, что сам уехал в город.

В самой первой книге «Признание друзьям» (1956 год) есть стихотворение с горьким названием «Чужой». Оно о юноше, который, закончив университет, приезжает в село, где жил «отец,

печник простой». С каким высокомерием, с какой брезгливостью смотрит юноша на село, на деревенских баб, даже не предполагая для себя возможности остаться в родном селе. Осуждающе и тревожно звучит шум ветвей: чужой, чужой. В полях Ячмень, усами шевеля, Зашелестел: чужой, чужой. И куда бы ни попал приехавший домой выпускник университета, «Куда б ни тронулся, везде За ним неслось: чужой, чужой!».

Вот именно с такого разговора и начинается поэма «Павла». Это было первое стихотворение «Серьезный разговор», написанное в Вологде – Петряеве 7 февраля – 17 апреля 1967 г.

Соседка Павла спрашивает, как зовут по имени приехавшего к матери сына.

Вот знаю, как вас величают,  
А не припомню, как зовут.

В этом простом объяснении такой большой смысл: величают по отцу, которого она хорошо знала, а вот о сыне не знает ничего, даже его имени. И мать, назвав имя сына, словно извиняясь, скажет: «он все в ученье, негде знать».

Каким горьким упреком звучат эти слова!

«Серьезный разговор» вместе с другими стихотворениями было напечатано в журнале «Молодая гвардия» (12- 1967).

Вторым стихотворением по времени создания нужно считать «Болото», написанное в Доме творчества Переделкино 19–22 марта 1971 года. Это было чудесное воспоминание о родных местах, о страшном рассказе Павлы о болоте, о ее предупреждении: «Не ходи, Олексан, на болото, Не ходи, дорогуша, один». Оно было напечатано в газете «Вологодский комсомолец» 25 июля 1971 года.

Так дальше и появлялись одно за другим стихотворения, где главной героиней была Павла, задающая порой такие вопросы автору, что он не знал, что и ответить.

Ведь где-нибудь да молодая  
Должна же я существовать.  
Ужель была да и пропала?  
«Сон». 20-27 мая, 1976 год

А пошто, – спросила Павла, –  
У годов не ровен свет?  
Всё запомнила до мала  
Из своих начальных лет.  
Из девичьих – тоже много.  
А замужних – так до дня.  
А из вдовьих... ради бога,  
И не спрашивай меня.

«Вопрос». 10 января, 1973 год

В сборнике «Северные поэмы» (1979 год) поэма кончалась главой «Внью», где Павла, любуясь внуком, желает, чтобы он перенял бы совесть, был бы хорошим человеком. И хотя она знает, что скоро умрет, уверена, что не совсем умрет, не вовсе.

Душой-то буду на миру.  
Душа, она всегда живая.

Мог ли автор оставить свою героиню с такими горькими предчувствиями смерти? И дальше пишутся главы «Кросна в избу волоки» (10.04.80), «Секрет Павлы» (08.07.80), «Студёный» (14–15.01.81), «Разговор с Павлой о писателях» (19–23.01.81).

В этих главах Павла «царственно-серезна», когда садится ткать половики. Для нее это привычное дело, да и очень хочется передать внучкам «вытканные радуги». Автору удается узнать, почему Павла живет, не старея. Она, оказывается, забыла про года, у нее нет «досужего» времени, все в делах.

– За век-то сколько зорь вставало,  
А ни одной не проспала.  
Встречаю их и провожаю,  
Купаюсь в зорях с малых лет.

Это восхищение трудолюбием настоящих крестьян не раз встречается и в других произведениях А. Романова. Вспоминая своего трудолюбивого деда, Александра Никаноровича Романова, он пишет в стихотворении «Календарь»:

А дед свои календари  
На папье за деревней  
Листал от утренней зари  
И до зари вечерней.  
Такой размах его судьбы  
С душою был согласным,  
И календарь его судьбы  
От этих зорь был красным.

Автор назовет свою героиню Павлу «Зоревая». Но не всё радостно и красно в ее судьбе. Павла грустит, что в людях «побавилось тепла», «люди стали студёны».

Очень дорога была автору последняя глава – «Разговор с Павлой о писателях». Сама она проучилась только три зимы, но очень любила стихотворения.

И замер я. В типпи сидим  
И голос, лишь душе послушный,  
Возник из дальних лет и зим.  
Он сбивчив, радостен и ласков...

Павла твердо убеждена, что все эти стихи написал, конечно, Пушкин, «он Богом нам определён». Из наших писателей она по радио слыхала и Белова, который «посерёдке жизни прёт», и голос Фокиной «носит душу в поля, в луга».

Горький упрек высказывает старая крестьянка, слушающая писателей по радио.

Иной раз клонишь, клонишь ухо –  
Писатель, слышу, говорит.  
Лишь в ухе звон, а в сердце глухо  
Не вздрогнет и не загорит.

Пообещал Романов сложить о ней, Павле, стихотворение. Этим и закончил поэму.

Впервые она была опубликована в сборнике «Северные поэмы (1979 год). Тогда в ней было только 6 глав. Полный ва-

риант поэмы с 10 главами был опубликован впервые в сборнике «Красные тучи» (М., Современник, 1982). Вошла эта поэма и в однотомник «Избранное» (М., Современник, 1990).

О поэмах этого сборника поэт Игорь Григорьев пишет в письме от 24 мая 1991 года:

«Содержание книги – история, честная, без влияния и подделывания. Тебе удалось показать нашу основу жизни, русскую душу, и нашу основу бытия – крестьянское сердце. Образы, язык, метафоры, ритмика – все достоверно, все достает до сердца, заставляет любить и веровать!»

Поэмы твои – это романы в отличных стихах, лирические и одновременно эпические романы.

«Северяновна» – отличная поэма!

Сияет березник.  
Сияет сосняк.  
Сияет облезлый  
Мелькнувший беляк.

Чудо какое-то! Всё сияет!  
Поэма «Павла» – очень, очень, очень...  
Сон Павлы – колдовски могуч и необыкновенен. Такое подстать только чародею. А эти строчки?

Что от прежнего только осталось?  
Разве кепка на мне да пиджак.

Вот читаю эти строчки и – весь в слезах. Ох-ох! Замечательны твои стихи. Они насовсем запали в сердце, словно стали моими. И знаешь, даже в голову не может прийти, что когда-то я их не знал. Твоя книга – энциклопедия нашей родины, северной земли».

\*\*\*

Как уже бывало не раз, поэма «Три зари» началась с одного стихотворения – «Зной», которое потом стало первой частью поэмы. Написано оно было в феврале 1975 года в

Петряеве. Полушутя рассказана история, как немолодой женатый мужчина во время совместного метания стога вспыхивает от заигрывания молодой красивой женщины, разведенной жены, как она себя называет. Всё на этом могло и кончиться, но тогда не было бы и прекрасной поэмы о силе любви. В это же время написано и второе стихотворение «О любви», которое станет четвертой частью поэмы. В поэме стихотворение появляется, чтобы в самый трудный момент поддержать героиню поэмы Наталью, верную и любящую жену. На левой стороне листа только одна строчка о ней говорит о многом: «... и святая жена». Тут же такое замечание: «февраль метельный, мятежный». И еще одна запись, обведенная в рамку: «Было счастье. Да, было оно!» Разве не счастье – прожить с мужем сорок лет: «след в след, Слово в слово и думушка в думу».

Только войны разлучали их: финская и «большая». В войну она молилась за Ивана перед иконой и была уверена, что спасла его своими молитвами. Когда в дом пришла беда, она решила, что спасет мужа от этого наваждения, «от злой любови». Очень поэтично в поэме описано гадание Натальи. В рабочей тетради есть две записи о гадании: заговор и стихотворение о том, как мать хотела спасти сына от кручиньи.

Мать извелась, измучилась:  
Белей берёсты сын.  
Гнетёт тоска дремучая,  
И долго ли до слuchая,  
Когда он всё один.

Слыхала – за лесами  
В деревне Липин Бор  
Платониха косая  
Колдует до сих пор.

И мать пошла украдкой.  
Вернулась: свет в лице.  
Сын горестно трехрядку  
Терзает на крыльце.

Когда фонарь заката  
За яблоней погас,  
Со свечки воск закапал,  
Зацвел иконостас.

Стихотворение не закончено, но больше к нему автор не обращается. А заговор записан, вероятно, с чьих-то слов. «Берут три продукта, которые любит тот, кого хотят заговорить. Старуха на них нашептывает на кухне, подает женщине и говорит: иди домой, ни с кем не разговаривай, кто бы ни встретился. А сама зачерпни из трех колодцев по ведру воды обязательно по три зари (две вечерние и одна утренняя). Встань лицом к заре и разливай воду ковшиком из трех ведер».

Насколько тревожней, поэтичней описано это гадание в поэме «Три зари».

Только не помогло это гадание прогнать дьявольское нааждение – грешную любовь Ивана, который даже в лице святой иконы увидел женщину на стогу зеленом, с лукавой умешкой во взгляде.

Не помогли героям поэмы и выстраданные поэтом строхи о настоящей любви, первой любви.

Первых вёсен побережье  
Будто в дымке голубой.  
Там румянцем детским брезжит.  
Там глядит из сказок прежних  
Робко первая любовь.

Но эта любовь поможет в самые трудные минуты.

Грянут боли и утраты,  
И к сердцам подступит боль, –  
Слёзы высушит утрами,  
Словом скажется отрадным  
И разделит хлеб любовь.

Вообще, вся четвертая глава – это гимн настоящей любви, которая способна творить чудеса, преображая всё вокруг.

Крепок духом тот, кто любит,  
Встретив жизни круговерть.  
Ведь не зря сказали люди:  
Есть один соперник лютый  
У любви на свете – смерть.

Эта глава поэмы была особенно любима автором, и он часто читал ее во время встреч с читателями.

Почти законченная в рабочей тетради 1975 года, поэма переписана заново в рабочую тетрадь 1978 года, где поставлены даты: 2 – 12 февраля 1978 года. Петряево.

Стихотворения «Зной» и «О любви» были опубликованы в сборнике «Пласти» (В., СЗКИ, 1976). Полностью поэма впервые опубликована в сборнике «Северные поэмы» (А., СЗКИ, 1979), потом в сборнике «Красные тучи» (М., Современник, 1982) и в «Избранном» (М., Современник, 1990).

\* \* \*

Поэма «Сыновья» создавалась в 1981, 1982 годах. Три наших сына: Владимир, Сергей, Александр отслужили друг за другом свой срок армейской службы с 1969 года по 1979 год. И только после возвращения третьего сына отец смог начать писать поэму, не выделяя конкретно, о каком из сыновей он пишет. Поэма тоже писалась по отдельным главам, которые сразу же публиковались. «Какие волосы у сына» – первая глава была опубликована в журнале «Наш современник» (6-1980) .

Даже в сборнике «Красные тучи» (1982), где есть специальный раздел «Поэмы», главы из будущей поэмы «Сыновья» опубликованы как отдельные стихотворения: «Провожание», «Возвращение», «Свадьбы», «Жили-были». И только в сборнике «Дни прозрения» (М., Молодая гвардия, 1985) эта поэма впервые опубликована под названием «Сыновья».

В ней и любование выросшими сыновьями, и тревога за них, думы об их будущем, воспоминания о своей юности, когда встал вопрос о сыновьей свадьбе.

И пело, и плакало что-то  
В родительской нашей душе.  
И время сверкнуло с налёта,  
Забытое нами уже.

Как щеки у нас полыхали  
И, встретившись, дух замирал,  
Как первыми в жизни стихами  
Я тропки к тебе устипал.  
И как на воде да на хлебе  
В студенческих наших годах  
Мы жили... Как будто на небе!  
Лишь звезды крошились в следах.

Для отца «свадьбы сынов возмужалых» – это «свет из далекой весны». И опять тревога: «Что ждет впереди их – узнать бы, но знания этого нет». Поэма заканчивается главой «Жили-были», где, как итог круга жизни, – появление внуков. А у нас их в 1982 году было уже шестеро: Лена, Сережа, Маша, Миша, Ваня, Таня. Позднее, в 1986 году появится и последний внук: Саша Романов.

И под шорох листопада  
Из счастливых детских снов  
«Жили-были дед да баба»  
Добрый голос молвит вновь.

\*\*\*

О создании поэмы «Отец» – можно рассказывать очень долго, но сделать это очень трудно. Писалась она в феврале-апреле 1985 года после поездки осенью 1984 года на место гибели отца под Выборгом. По черновым записям в рабочей тетради видно, что сын понимал, какую трудную задачу ставит перед собой.

Хотел, чтоб вспыхнула во мне  
Вся сила озаренья,

Но с тем, что было на войне,  
На свете нет сравненья.

И все-таки он берется описать бои, в которых участвовал его отец, командир стрелкового взвода. Сын называет себя «живой тенью отца», «его живым двойником», как будто отец наделил его своим зрением.

Воочью в них увидел сам  
Войны кровавый облик  
И примерял себя к бойцам,  
Вершившим этот подвиг.

Поэма написана так живо, словно автор и вправду был участником этих страшных боев. А.А. Романов вспоминал позднее: «Прочитал я матери только что законченную поэму «Отец». Она заплакала и поцеловала меня. «Всё правда, — сказала. — Писать, поди-ко тяжело было: до чего не дотронись — тут всё болит». И я облегченно вздохнул. «Какая у него теплая душа была!» — взглянула на меня в слезах мать.

Поэма была напечатана в областной газете «Красный север» 5 мая 1985 года — двадцать лет назад — к сорокалетию Победы в Великой Отечественной войне. Взяв несколько номеров газеты «Красный север» с поэмой, А. Романов с братьями Павлом и Львом и с нашим средним сыном Сергеем отправляются к месту гибели отца и деда, лейтенанта Романова, к мемориалу Петровка-30, где захоронены 4 тысячи наших воинов. На мемориале гордые и скорбные строки:

Есть у отчизны каменные книги  
Печали вечной и бессмертной славы.  
Одну из них, гранитную, прочти.  
Имён здесь много, много безымянных.  
Их путь земной недолог был, но ярок  
Они погибли, победив!

Поэма «Отец» была напечатана в журнале «Север» (9-1985). Один из читателей Юрий Алексеевич Соловьев из по-

селка Волжский Волгоградской области в письме от 25 ноября 1985 года пишет в редакцию журнала: «Долго раздумывал, должен ли беспокоить работников редакции своим письмом. И после душевных споров решил: не должен, а обязан поблагодарить редакцию за то, что в девятом номере журнала как передовую поставили поэму А. Романова «Отец». Сразу в душе появилось тепло и гордость за наш народ. Считаю, что А. Твардовский и А. Романов – братья – потому, что у них одна мать – Родина. Я чувствую правильность сопоставления «Василия Теркина» с поэмой «Отец». И никто меня в обратном не переубедит. Особенно мне понравились такие строчки поэмы:

Нет, превосходства никогда  
Над нами не добиться  
•Чистопородным господам»  
И всем другим «арийцам»!  
Русь потому и велика,  
Что в ней корысти мало.  
Русь потому стоит века,  
Что братства ей хватало!

Мария Ивановна Фатеева из Череповца, бывшая фронтовая медсестра, пишет в письме от 16 февраля 1988 года: «Я читала вашу поэму и обливалась слезами. Так живо, так зримо встает облик вашего отца. В решающий миг, когда он поднял солдат в атаку, он знал, что идет на смерть. Из тех каменных траншей он встал во весь рост и шагнул в бессмертие. Это бессмертие подарили вы ему своей поэмой. Я еще ни у одного поэта не встречала такой сильной поэмы о солдате».

«Какую волнующую поэму «Отец» написал Александр Романов. Я читала и до слез была растрогана такими проникновенными трагическими словами, – пишет Сизова Нина Васильевна из Вологды, – Они хватали за сердце, и во многих местах я не могла продолжать чтение из-за слез.

Мой отец тоже воевал, правда, умер уже после войны. Вернулся он с фронта в 1945 году в возрасте 40 лет, а был уже совсем

седой. Много раз был ранен, контужен. Когда показывают фильмы о войне, как идут солдаты по грязи, тащат пушки, заряжают, падают раненые, мне все кажется, что это мой отец».

Я тоже вспомнила, как мой отец, Жаров Александр Иванович, вернулся с фронта 43 летним инвалидом, дважды контуженным на Неве и на Висле, и долго ничего не мог рассказывать о войне, которая отняла у него мать, сестру, ее детей, брата... Я тоже не могла без слез читать эту поэму. Меня особенно взволновали такие строки:

А там, в кочкарнике глухом,  
Как снежные полоски,  
Росли над каждым валуном  
Плакучие березки.  
Они ожгли мои глаза  
Прощальным листопадом,  
И я расслышал голоса,  
Провеявшие рядом:  
«Здесь под свинцовым сквозняком  
Мы за Россию пали  
И поднялись березняком,  
Чтоб люди вспоминали...»

Ав письме читательницы Кохановской Нины Васильевны со станции Лежа Грязовецкого района есть трогательное воспоминание о Романове Александре Александровиче не как о герое поэмы, а как о живом человеке. Было это в 1940-41 учебном году, когда она работала в Воробьевской школе, где он был завучем. Нина Васильевна впервые принимала экзамены, очень волновалась и разлила красные чернила по полу. И вдруг услышала над собой спокойный голос: « Непонятно, кто сегодня сдает экзамены, Ваши ученики или Вы?» Она увидела добрые глаза Александра Александровича и успокоилась. « И было у меня такое чувство, что всю бы жизнь хотелось работать с таким исключительно честным, скромным человеком, преданным своему делу! Но... летом 1941 го-

да он ушел на фронт, оставил нам наказ: «Верьте в победу. Ждите. Не поминайте лихом».

Поэма «Отец» была опубликована в сборниках «Русь уходит в нас» (М., Современник, 1987) и «Избранное» (М., Современник, 1990).

\* \* \*

Заря над лесом, и заря в печи.  
И мать в сиянье зорь... Вот радость утра!  
И в ум нейдет, и в сердце не стучит,  
Что эта радость, боже мой, минутна.  
Лиши в суете забудься, закрутись -  
Так поминутно промелькнет и жизнь.  
Спохватишься тепло ее сберечь,  
Да где там!.. И затужишь поневоле:  
Сгорели зори. Протопилась печь.  
И мать ушла. И не увидишь боле.

Пришлось испытать и эту беду...

Очень горькой была следующая поэма «Прощание с матерью», созданная почти сразу после смерти матери.

Александра Ивановна умерла 4 июня 1986 года, в возрасте 78 лет, вдовой прожив без мужа 42 года.

Про то, как поэма создавалась, очень трудно писать, особенно перечитывая варианты строк в черновой тетради. Смерть матери для любящего сына была такой страшной утратой, что он, кажется, с трудом находил слова, чтобы выразить свои чувства.

Она скончалась. Мир вокруг,  
Нет не перевернулся,  
А потемнел и сжался вдруг.  
Губ не разжать - слова фальшивы.  
Им не вместить ни жизнь, ни смерть.

Самое главное и горькое осознание - то, что ни разу не удалось избавить ее от одиночества. Хотя Саша был очень забот-

ливым сыном, очень часто и подолгу жил в Петряеве вместе с мамой, ему там хорошо работалось, но мать, оставшись вдовой, все равно чувствовала себя одиноко, замыкалась в своем горе.

Поэма «Прощание с матерью» может быть прочитана душевно только теми, кто пережил подобную утрату. Ее невозможно пересказывать.

«Когда я читала Ваше «Прощание с матерью», я вспоминала свою утрату. Особенно меня потрясли строки о судьбе многих русских женщин, потерявших на фронте мужей.

Ушла в суровое вдовство  
И отдала всю участь дому.  
А сыновьям – любовь свою.  
А силу – полюшку родному.  
А верность – павшему в бою.

Эта Ваша маленькая поэма – шедевр, и я хочу, чтобы ее напечатали в «Правде», в других газетах, чтобы передали по радио, чтобы люди ее знали», – пишет Лидия Ильинична Шинкевич из Вытегры (23.11.1987).

Другой читатель из Вологды Одношивкин Николай Дмитриевич пишет так: «На меня сильно подействовало Ваше стихотворение «Прощание с матерью». Я давно не читал подобных стихов! Оно, по-моему, должно быть включено в литературные хрестоматии и изучаться в школах и вузах. Так думаю я, простой читатель».

В газете «Красный Север» (19.03.1987) напечатано К. Кулаковой. «Прочитала я в газете поэму «Прощание с матерью», и возник передо мной образ моей матери, Новоселовой Александры Васильевны, уроженки д. Слобода Тотемского района. Даже имена одинаковые у моей мамы и матери поэта.



Вдова с июля 1944 г.

Отец наш погиб на фронте в 1943 году, и мама в 32 года осталась одна с четырьмя детьми на руках. Умирая, она говорила нам те же слова, которые прозвучали в поэме: «Ребята, живите дружно, не смешите людей». Провожали ее в последний путь тоже всей деревней.

Спасибо Александру Романову за то, что он предоставил мне возможность мысленно прожить все годы с мамой и вдоволь поплакать об утрате».

Поэма была опубликована в областной газете «Красный север» (20.02.87), в «Сокольской правде» (11.03.87), в журнале «Наш современник» (6–1987). Ею заканчивается сборник «Избранное» (М., Современник, 1990).

• • •



Вероятнее всего, А. Романов не скоро взялся бы за создание следующей поэмы, если бы не приближающийся праздник – 200-летие со дня рождения Константина Николаевича Батюшкова. Как было не откликнуться поэту на

это событие, тем более что юность наша прошла в доме Батюшкова. Здесь размещалось Вологодское педучилище, в котором мы учились в 1945–48 годах. Вот об этом и писалась поэма «Дом Батюшкова» в период с 20 марта по 12 апреля 1987 года, а опубликована она была в газете «Красный север» 29 мая 1987 года, когда в Вологде открывали памятник К.Н. Батюшкову.

Поэма посвящена нашему любимому и почитаемому учителю литературы Николаю Иринарховичу Янусову, который отметил поэтические способности деревенского парень-

ка. Да еще и любовь наша оказалась тому причиной, почему столько стихов создавал шестнадцатилетний поэт. О трудностях жития-бытия забывалось, когда на занятиях литературного кружка Н.И. Янусов читал стихи Фета, Тютчева, деликатно анализировал наши поэтические «труды».

Я приносил с базара жмых  
И грыз его, что камень черный,  
А получался светлый стих,  
Восходом солнца золоченый.



Вся поэма – о любви, о поэзии, о благодарной памяти к поэту К.Н. Батюшкову, к его бессмертным словам:

«О память сердца!  
Ты сильней рассудка  
памяти печальной».

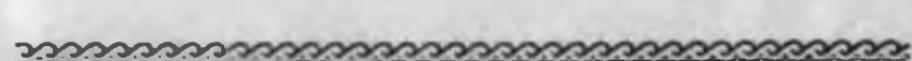


Поэма была опубликована в журнале «Север» (10-1992), затем в сборнике «Вологда моя светловолосая» (Вологда, Вестник, 1996).

\* \* \*

Если считать со времени написания первой поэмы «Художники» (1962) до последней поэмы – «Дом Батюшкова» (1987), то окажется, что 25 лет своего творчества Александр Романов отдал созданию поэм. Именно этот жанр давал ему возможность «насладиться раздумьями о жизни».

В архиве автора находятся многочисленные отзывы читателей и друзей-писателей о работах поэта.



Получив маленький сборник «Северных поэм», Виталий Семенович Маслов отозвался о нем прочувствованным письмом (30.01.1986):

«Стихи иногда под настроение воспринимаются по-разному. Но поэмы!.. Они сами настроение делают, сами дороженьку себе мостят, впереди себя катят. Сколь ты в них чист, нежен и высок! И сколь мудр! Знал бы я, что поэмы такие читают, что вообще поэмы читают нормальные люди, бросил бы, наверное, писать: там всё сказано. Всё-то там наше, моё выглядел ты и сказал сердечно...»

Романовские стихи, романовский мир – это мой дом родной, каждый сквознячок – душу насквозь. И столь мне светло и радостно с Романовым, даже с трагичным – с любого слова».

Василий Иванович Юровских пишет А. Романову о книге «Вологда светловолосая» (25.10.1995):

«Обнимаю тебя крепко за книгу: рад, рад, рад!!! Прочел залпом, перечитал снова, лаская взглядом каждую строчку. Славная книга внешне, а уж о душе, сердце и говорить не приходится. Всё в ней родное, близкое, дорогое. Поэма «Дом Батюшкова» – чудо! Словно я сам о себе читал, заново переживая свою молодость, самые светлые дни юности. Прекрасная поэма! Драгоценный подарок ты сделал русским людям в канун славного юбилея Вологды.

Ежедневно помню тебя, снимаю с полки твое «Избранное», нежно, трогательно и молитвенно касаюсь книги, ухожу в мир твоей поэзии. Ты для меня был, есть и будешь до смертного конца Русским огоньком, воспетым Николаем Рубцовым.

Спасибо, Саша, огромное спасибо за честную, верную дружбу!»

И словно вторит ему другой читатель из г. Арзамаса, Н. Рачков в письме от 9 апреля 1986 года: «Боже мой, до чего же Вы русский поэт, Александр Александрович! Я и раньше, встречая Ваши стихи в журналах, глубоко уважал Вас, чувствуя родственную душу. А вот совсем недавно познакомился с Вашей изумительной книгой «Северные поэмы». Из них меня особенно поразили «Три зари». Столько здесь красоты,

вдохновения, любви и боли. Прочитал, и сердце зашлось. Я похожего еще нигде не читал. Ваши «Северные поэмы» – замечательная, талантливая книга, в которой вся наша жизнь, деревня, Россия. Глубокая книга. И свежая. Вот сегодня нахлынуло что-то, взял с полки ваши стихи, перечитал заново, и так стало в душе по-летнему тепло, так хорошо, что живет на свете великолепный русский поэт Александр Романов, который пишет с такой любовью о своей земле, о своем народе, о милой крестьянской родне. Спасибо вам за солнечный труд, за мудрость души и ума, за неизбывные муки сердца!»

Вот перечитываю я эти строки из письма Н. Рачкова (даже имени не знаю) и плачу от благодарности к этому незнакомому человеку, который так высоко оценил «Северные поэмы». И вспомнилось мне, как Саша был счастлив, когда вышла эта книга в удивительно светлом, чистом, каком-то воздушном оформлении художника В. Сергеева. Он мечтал, что когда-нибудь соберет все свои поэмы и попросит В. Сергеева написать иллюстрации к ним, но обязательно сохранить рисунок на суперобложке книги «Северные поэмы». Я помню, что он словно ласкал взглядом этот рисунок, вероятно, представляя будущую книгу.

Анастасия Александровна Романова. 2005 год.



Все расстучились, смычим только,  
Как он, рубаху теребя,  
Кричит одно: "Эх, Колька, Колька!  
А я хоть топну за тебя..."  
И начал топать да кручиниться,  
Да на одной-то все ноге.  
Стонало горе в половицах,  
Стонало горе в потолке.  
А та, которая не гнётся  
Нога, торчала, словно жердь.  
Смахнул бы все, что подвернётся,  
И было больно нац смотреть.  
Ну, а гармоньня так играла,  
Так пела — тут ли не рвалась.  
И хоть народ сидел дикалий,  
Но слезы вышибло из глаз.  
Добро, что бабы не видали...  
Вот что такое, брат, сойна.  
А ты мне — что-то про медали,  
А ты мне — тут про ордена.



Расторганы прощальнойю минутой,  
Они стоят беспомощно в избе  
И руку жмут: „Ну, ветерок попутный,  
Ну, путь-дорога скатертью тебе”...  
Я возвращаюсь на просёлок деревний,  
А он пластом тернеет и ползет.  
Куда ни гляну — брублены деревни  
С плачом размаха в русский горизонт.  
Они стоят бесхитростно и просто  
И дожидаются век великий свой.  
Деревни — родовые нации, чиства  
Омыты грозовою синью.  
Но сердце ничего не позабыло,  
И я поклоном кланяюсь земным,  
И слово древнерусское „спасибо”  
Произношу всем существом своим.  
И сорванное с губ зеленым ветром,  
Подхваченное кликом энуралей,  
Осыпанное белоцветьем бербним,  
Оно летит над родиной моей.  
Летит, летит и набирает силу  
Других, душе созвучных голосов:  
Спасибо, деревянная Россия,  
За колыбель,  
Науку,  
Хлеб  
И соль!

## СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

- Стр. 2 портрет А. Романова, 1930-1999.  
Стр. 2 автограф подписи А. Романова.  
Стр. 3 «Цветок» - илл. из кн. А. Романова «Северные поэмы», 1979.  
Стр. 14 автограф стихотворения «1941-1981».  
Стр. 21 автограф стихотворения «21 июня 1941».  
Стр. 24 автограф стихотворения «Русь уходит в нас».  
Стр. 24 илл. из книги А. Романова «Северные поэмы», 1979.  
Стр. 25 худ. Н. Бурмагин, гравюра.  
Стр. 41 фото «А. Романов» и автограф отрывка из ст. «Думы об отце».  
Стр. 47 фото Романовой А.И., матери поэта.  
Стр. 49 илл. из кн. А. Романова «Северные поэмы», 1979.  
Стр. 53 автограф стихотворения «Всё думаю о тех...»  
Стр. 58 худ. В. Сергеев «Травы, монастыри».  
Стр. 73 худ. Ю. Воронов «Романов» и автограф ст. «Меж взглядов...»  
Стр. 74 худ. В. Сергеев «Пашня, дождь».  
Стр. 88 худ. Д. Тутуджан «Молодая».  
Стр. 100 илл. из кн. А. Романова «Позёмка».  
Стр. 155 худ. Н. Бурмагин «Листья».  
Стр. 180 худ. Д. Тутуджан «День Победы».  
Стр. 201 худ. В. Сергеев «Изба, дерево».  
Стр. 212 худ. Н. Бурмагин «Яблоко».  
Стр. 226 фронтовое фото отца поэта, А.А. Романова, 1944.  
Стр. 252 худ. Д. Тутуджан «Про хлеб».  
Стр. 262 илл. из кн. А. Романова «Северные поэмы», 1979., автограф.  
Стр. 263 илл. из книги А. Романова «Позёмка».  
Стр. 272 фото «Дом поэта в Петряево».  
Стр. 277 автограф ст. «Сторожевой луч».  
Стр. 280 фото «Дед писателя Александр Никанорович и будущий поэт  
Саша Романов», 1934?  
Стр. 283 фото «Романова Анастасия Александровна».  
Стр. 289 фото «А. Романов и В. Коротаев, друзья в поэзии и жизни».  
Стр. 294 фото «А. Романов на своем юбилее в Воробьево».  
Стр. 311 фото «Романова А.И. - вдова с 1944».  
Стр. 312 фото «Вологодское педучилище».  
Стр. 313 фото «Н.И. Янусов».  
Стр. 313 обл. кн. А. Романова «Вологда светловолосая».  
Стр. 315 илл. из кн. «Северные поэмы», 1979.  
Стр. 316 автограф, отрывок из поэмы «Черный хлеб» - «О войне».  
Стр. 317 автограф, отрывок из поэмы «Черный хлеб» - «Спасибо!»

## СОДЕРЖАНИЕ

Подвиг русских деревень. <i>Очерк</i> .....	5
Как во сне. <i>Стихотворение</i> .....	14
«А сердце ничего не позабыло...» А.А.Романова.....	15
Русь уходит в нас. <i>Стихотворение</i> .....	22

## СЕВЕРНЫЕ ПОЭМЫ

Художники.....	26
Мать.....	42
Укоры совести. <i>Очерк</i> .....	48
Тревога.....	50
Сухона.....	54
«О России, о деревне, о судьбе». Ответы А.А. Романова на вопросы корреспондентов газеты «Сокольская правда».....	59
Земля. В сокращении.....	74
Посвящение в родню. <i>Стихотворение</i> .....	87
Северяновна.....	89
Поземка.....	101
Черный хлеб.....	107
Пласти.....	131
Очевидец.....	156
Павла.....	163
Три зари.....	181
Сыновья.....	202
Отцовское озеро. <i>Очерк</i> .....	213
Отец.....	227
Прощание с матерью.....	246
Дом Батюшкова.....	253

## «Страницы сердца моего...»

О создании поэм. А.А.Романова.....	263
Список иллюстраций.....	318

*Литературно-художественное издание*

**РОМАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ**

**С Е В Е Р Н Ы Е П О Э М Ы**

**(Страницы сердца моего)**

Выпускающий редактор –	<b>С.А. Тихомиров</b>
Корректор –	<b>А.А. Романов</b>
Компьютерный набор –	<b>С. А. Романов</b>
Компьютерная верстка –	<b>С. А. Романов</b>

Сдано в набор 15. 03. 2005. Подписано к печати 05. 04. 2005.  
Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Гарнитура «BookmanCTT». Усл. печ. л. 20.  
Тираж 1000 экз. Заказ 1997.

Издательство «Книжное наследие»  
Вологодской областной универсальной научной библиотеки  
160035, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 1.

Отпечатано:  
ОАО «Вельти», 165150, г. Вельск, ул. 50 лет Октября, 48.